

ЕЛИЗАВЕТА ДВОРЕЦКАЯ



ЗМИЕВА ПОГИБЕЛЬ
КНИГА ПЕРВАЯ
ОБРЕЧЕННЫЙ ВЕНЕЦ

Елизавета Дворецкая

Змиева погибель. Книга

1. Обреченный венец.

«Автор»

2026

Дворецкая Е. А.

Змиева погибель. Книга 1. Обреченный венец. /
Е. А. Дворецкая — «Автор», 2026

Однажды Елеса, дочь сельской ведуньи Агнеи, встретила двух волков, которые оказались невольными оборотнями. Елеса и Агнея вернули им человеческий облик, а спустя время, явившись в стольный град Плечеев на свадьбу молодого князя Романа, Елеса вдруг узнала своих бывших волков в самом Романи и его младшем брате Всеволоде. И она, избавившая Роман и Всеволода от одной беды, чужой волей принуждена принести им беду еще худшую. Княжна Апракса решила выйти замуж, чтобы любовью одолеть родовую вражду, но этот змий поглотил уже слишком многих. Она и князь Роман потянулись друг к другу с первой встречи и надеялись, что их любовь окажется сильнее. Но с обеих сторон родные, для вида соглашаясь, искали способ разорвать этот союз. Свадьба прошла среди дурных знамений, и кольцо мертвеца затворило князю Роману путь к его молодой жене. Она ли виновница страшных чудес, в ней ли таится зло? Роман не смеет войти в покои новобрачной, но кто же занимает его место?

© Дворецкая Е. А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Часть первая. Невольные волки	6
Глава 1	6
Глава 2	14
Глава 3	23
Часть вторая. Из погребов глубоких	28
Глава 1	29
Глава 2	33
Глава 3	39
Глава 4	45
Конец ознакомительного фрагмента.	50

Елизавета Дворецкая

Змиева погибель. Книга

1. Обреченный венец.

Бяше же у брата его Павла жена прекрасна¹.

¹ Житие святого и благоверного великого князя Петра и его благоверныя княгини Февронии, муромских новых чудотворцев. (Причудская редакция.)

Часть первая. Невольные волки

Глава 1

Незадолго до Ильина дня по селу Милову пошел слух: Елеса, Агнеина дочка, прикармливает пару волков. Соседка Нушка, по прозвищу Квашня, сама видела, как две серые тени проскользнули с выпаса на зады огорода, и там Елеса кормила их чем-то из горшка.

– Я ведь еще тогда видела, вроде как серое что-то мелькнуло, думаю, пес, – рассказывала Нушка бабам у мостков. – И Елеська к избе идет, в руках у нее вроде горшок, да я думаю, мало ли что... А вчера опять гляжу: она идет с горшком, и вроде как два большущих серых пса за кустом выются. Я думаю, это чьи же у нас такие? А потом она подходит, они к ней бегут, я и вижу: батюшки, господи, да это ж волки! Думаю, съедят сейчас девку, хотела крикнуть – онемела, шевельнуться не могу. А смотрю, она полотенце наземь стелит, что-то раскладывает, один с полотенца ест, другой морду в горшок сунул. Я и думаю...

– Да ладно, что ты думаешь! – прервала ее Стефанида, крестная Елеса. – Ты рассказывай, что видела!

Позабыв о мокром белье и ведрах, пять-шесть баб столпились вокруг Квашни.

– То и видела. Поели они, головами вот так помотали, будто благодарят, и на выпас убежали, а там и в лес.

– Волки?

– Волки, чтоб мне белого дня не видать!

Новость произвела смятение. Побледнел и переменялся в лице Пушилин сын Веретно – в конце зимы он повздорил с Елесой на посиделках и с тех пор тайком ждал себе беды. Никишка Телятя вдруг вспомнил, что должен помочь с сенокосом тестю, и сбежал в Любимовку – а на деле-то убоился, что это ему хотят припомнить случай, когда у него сдохла лошадь, а он потом орал на все село, что ее сглазил Ермолай, Агнеин муж, он до епископа в Плечееве дойдет. Иные бабы разохались: ох, коровушки наши, поедят их всех! У колодца, во дворах, на краю покоса, пока пережидали в тени самый зной, бабы толковали и спорили: кто ссорился с Агнеиным семейством, на кого натравят зубастое лихо?

Люди более разумные, несмотря на клятвы Квашни, ей не очень-то поверили. Одни говорили: мол, известно, и Агнея, и хозяин ее – люди знающие, знатки², вот на них и наговаривают. Баб послушать – так Агнея всяку ночь на медведе по селу верхом катается, да не в своем виде, а в свинячем обличии. Другие отвечали: то-то и оно, что знатки, всякое могут, может, и забь волков приваживают. А зачем, спросишь? Затем, как недосчитаемся коровы-другой, а то и десятка, будешь знать зачем.

В густом от зноя воздухе веяло тревогой. Заканчивался сенокос, в лесу созрела черника, на нивах доходила рожь, вот-вот пора будет жать. Стояли ясные, жаркие дни, чуть не всякий вечер где-то за небокраем погромыхивало, даже видели издали блеск молний в тучах. «Илья святым воду развозит! – говорил дед Савалы. – Как бы на нас бочку-то не опрокинул!» Поговаривали, что надо бы сходить с попом в поля и помолиться, чтобы бог уберег от грозы на время жатвы, не дал дождям навалить в сено пуд навоза. А тут еще эти волки! Пушилиха, баба робкая, на другой же день с утра взяла десяток яиц, кусок масла, побежала спозаранку к Агнее,

² Знаток – в традиции, знахарь, колдун (кому – знатку). Множ.ч. – знатки.

поклонилась по-соседски, просила не помнить какого зла. Агнея заверила, что между ними никакого зла нет, но приношения взяла и очень благодарила.

Не прошло и пары дней, как разговоры о волках дошли до самой Агinei. Агнея была здешней уроженкой, в селе, да и во всей волости, хорошо помнили ее мать, Соломону Силантьевну: та была лучшей повитухой, у нее, как говорили, ни одна роженица и ни одно дите принятое не умерло. За это ее почитали, на ее могилу близ миловского Михайло-Архангельского храма ходили молиться бесплодные и беременные бабы, забирали оттуда по горсточке земли и носили в узелке на шее. Молодой священник, отец Ираклид, несколько лет назад сменивший покойного отца Памфила, очень на это негодовал, возмущался, что мол бабы старуху Соломону в святые возвели, и гонял бабенку с церковного кладбища прочь, но могилу не трогал – христианское погребение, и при жизни Соломонида ни в чем дурном замечена не была.

Немалую часть любви к Соломониде унаследовала Агнея, вместе с ремеслом знахарки и повитухи. На вид она была самая обычная баба средних лет, невысокая, кругленькая, румяная, и в простых чертах ее лица светилось расположение ко всем, ласковая приветливость. Всякий в Милове, да и в окрестностях, знал ее с детства – ее или своего, смотря по возрасту, – и оттого заподозрить что-то дурное в ее знаниях было трудно. Даже когда бабы на посиделках заводили разговоры о колдовстве, начинали припоминать разные пугающие случаи – о порче, о том, как некая ведьма перекидывалась свиньей или колесом, – кто-нибудь да замечал: мол, хорошо, у нас не так, как в иных местах, у нас Агнея – баба добрая, не вредная...

Когда через пару дней к Агнее вечером зашел староста, Дементий, хозяйка с дочерью готовились ужинать: Елеса как раз положила на стол две ложки, а мать ее вынула из печи горшок.

– А что, хозяина нет? – оглядываясь, спросил Дементий, после того как поздоровались.

– На заимке он, Демеша! – Агнея поставила горшок на шесток и оправила передник. – Где нам хлеб, там и вам хлеб – поужинаешь с нами?

– Что у вас?

Ему ответила Елеса:

– Черна, мала крошка, соберут немножко – вот и будет угодня плошка; в городе Торжке продают бабу в горшке.

Дементий не очень удивился: он давно привык, что порой Елеса изъясняется непонятно.

– Кашка у нас полбяная, Демешенька, – пояснила эту темную речь Агнея. – Вот, Пушилиха и маслица свежего принесла по-соседски.

– Я уже от стола. Сынка ждете? Где его бог носит, обалдуя этого?

– Да уж придет, не придет – его дело! – Агнея махнула рукой. – Не малец уж, где мне за ним уследить. На рожке заиграется – обо всем забудет!

– Ох, доиграется он у тебя однажды на своем рожке! – выразительно ответил ей Дементий и шевельнул косматыми черными бровями.

Он был крестным Ильяна, Агнейного сына, но давно отчаялся наставить того хоть на какой-нибудь путь.

– Ох, да что ты, Деменюшка! – Агнея прыснула, как девка, зажала рот рукой и глянула в сторону Елесы. – При дочке-то!

Дементий пристально взглянул на Елесу; та в ответ лишь повела бровями. С первого взгляда всякий понял бы: Елеса пошла не в мать. Во внешности Елесы, худощавой и смугловатой, не было ничего общего с мягкой по сложению и поведению Агнеей, и уже несколько лет как дочь переросла ее на полголовы. Дементий и его ровесники помнили Агнею пухленькой, болтливой, смешливой румяной девкой, светловолосой и светлобровей, но ее дочь лепили из другого теста, не пшеничного, а ржаного. Красивой Елесе в селе не считали, хотя собой она была недурна: жестковатые черты продолговатого лица смягчал немного курносый нос и темные брови ровной дугой. При взгляде на нее всякий сразу замечал высокий лоб, таивший невесть

какие мысли, и большие глаза с густыми черными ресницами, из-за чего сами глаза – серые, с зеленовато-желтым ободком вокруг зрачка – казались темными. Эти глаза наводили на мысль о болоте, об омутах: на вид все гладко, но задержишься – и затянет на темный свет. Темной, как сумрак леса, была и ее коса – толстая и длинная, что считалась главным ее украшением и предметом зависти девок ее рощи³. На первый взгляд Елеса смотрелась миловидной, а на второй в ней угадывалась глубина, которая мешала замечать миловидность. Она была не как другие девки, у кого на уме лишь забавы да женихи. Елеса, хоть и исполняла все, что положено делать девке, о забавах и женихах думала не больше, чем сам Дементий, оттого и женихи не думали о ней. В селе на нее смотрели как на девку странную, внушавшую невольное уважение даже тем, кто старше, смешанное с опасением. Ей еще не было двадцати лет, но в ней уже видели преемницу и матери, и бабки. Говорили: Агня-то – ведунья выученная, а дочь ее – прирожденная, такие выученных втрое сильнее. Разговорчивостью Елеса не отличалась и больше молчала, пока ее не спрашивали; но и случись ей вступить в разговор, речи ее порой бывали так темны, что в селе ее считали «блажной».

– Да вот о девке-то я... – Дементий провел рукой по густым темным волосам; уже посевшие кое-где, они стояли грозовой тучей вокруг головы, из-за чего его и прозвали в селе Дементий Туча.

– А что моя девка? – Агня в выразительном изумлении округлила небольшие голубые глаза. – Она у меня смиренная.

– Смиренная-то смиренная! Да болтают бабы... будто она волков кормит!

Елеса молча отвела глаза, но по лицу ее было видно: стану я еще на всякие глупые наветы отвечать!

– Кормит... кого?

– Волков! Кого! Бабы видали у вас на задах огорода. Мол, два волка приходят, она их кашей из горшка кормит! Проходу не дают мне второй день: поди, Демеша, разберись! Нынче сам батюшка остановил: поди, мол разведай, а то я в Плечеев к епископу пошлю.

– Ахти мнеченько!⁴ – Еще больше выпучив глаза, Агня схватила за щеки. – Уж и к епископу! За что же он к нам так немилостив, отец Ираклид! Уж мы ли...

– Ты не причитай, а отвечай! – с досадой оборвал ее Дементий. – Кормите волков? Для какой-такой надобности? На кого натравить хотите? Коли на Никишку с его лошастью, так он болван, станет епископ его слушать!

– Да кто же кормит волков-то? Я тебе что – Баба-Яга, костяная нога? Они что – цыплята или телята? Да в сию пору. – Агня ткнула рукой за оконце, где двор был залит теплым светом летнего заката. – Нынче не зима, им и без нас не голодно.

– А что же ты тогда на двоих столько каши наварила, что десятерым не съесть? – Дементий ткнул на горшок. – Хозяин у тебя на заимке, сын где-то груши околачивает... рожком, а вы здесь наготовили, как на Маланыну свадьбу! К чему бы это?

– Да нынче работы много, некогда всякий день стряпать! Один раз сварила, будем с дочкой три дня есть. А может, и хозяин зайдет.

– А может, вы с кем этой кашей делитесь? Вот как будут сумерки, пойдем с тобой на зады да поглядим – не придет ли кто за этой кашей!

– Ахти мнеченько, Демеша! – Подвижное лицо Агнии приняло такой вид, будто она сейчас заплачет. – За что же ты казнить меня хочешь? Или я тебе чем не удружила?

– Бабы говорят, вы волков привадите, а потом они весь скот перережут! А батюшка и вовсе: мол, коли и правда окажутся волки, надо гнать вас всех из села!

³ Роща – прекрасное слово народной речи, обозначает девушек-ровесниц из старшей группы молодежи, поколение, готовое к браку, и при этом наводит на образ березовой рощи как метафоры девичьего круга.

⁴ Ахти мнеченько! – эмоциональное восклицание.

– Нас гнать? – На лице Агinei испуг и возмущение менялись с быстротой ряби на воде. – Да на нашем корне все Милово держится! Не я ли из самых здешних старейших жителей? Мать моя, Соломонида Силантьевна, всю жизнь здесь прожила, в старой еще церкви крещена была! Ее мать, Маврея Власьевна, всю жизнь в Милове жила, здесь родилась. Ее отец, Власий Мерьяныч... Отец мой, Ильян Данилович... Да ты на кладбище глянь, сколько там дедов моих! Еще и церкви в Милове не было – а могилки наши дедовы уже были!

– Да полно мне про бабок-дедов толковать! – оборвал ее Дементий.

Ему тоже все это не нравилось. Если отец Ираклид будет требовать изгнания Агinei с семейством и дойдет до епископа в Плечееве, жди беды. Но и изгнать лучшую знахарку и повитуху значило сильно обидеть село. Одни будут за Агнею, другие против, и как бы Милово не пошло войной само на себя.

– Посижу нынче с вами до ночи на задах, – решил Дементий. – Завтра скажу: нет никаких волков, вот вам крест, православные. Авось утихнут.

Агнея переглянулась с дочерью. У Елеса дрогнули губы, словно она хотела что-то сказать, но передумала. Дементий скакал пристальным взглядом с одного лица на другое; вдруг ясно ощутил, что перед ним – две бабы, великие умелицы вертеть хвостом, обдурят тебя, и не заметишь как. Сурово нахмурился: не на таковского напали. Он видел, что мать и дочь без слов ведут спешный разговор, а значит, им есть чего скрывать.

– Вы того, не дурите! – прикрикнул Дементий. – Я к тебе, Агнейушка, по дружбе один пришел. Будете вилять – людей позову.

– А жена тебя не заревнует, дядя Дементий, если ты с нами тут до ночи просидишь? – негромко заметила Елеса. – Скажут, почтенный такой человек, а сам дома не ночует, по чужим бабам ходит...

– Авось и забудут про волков – новая-то сплетня послаще покажется! – засмеялась Агнея.

– Ну, воля ваша! – Выведенный из терпения этой насмешкой, Дементий вскочил, схватил шапку и устремился к двери. – Скажу батюшке, что вы запираетесь, он живо людей нагонит полную улицу... Не понимаете добра...

Он сделал лишь несколько шагов, как Агнея колобком выкатилась ему наперерез и встала перед дверью, заслонив ее своим пышным телом. Дементий едва успел остановиться, чтобы на нее не налететь, и уперся длинной рукой в косяк у нее над головой.

– Демешенька, куманек, да что же ты такой сердитый? – запела Агнея вполголоса. Она смотрела на Дементия снизу вверх, его черная, с легкой проседью борода почти касалась ее поднятого лица. – Истинно туча грозовая! Уже и полыхнул, слова не скажи!

– Пусти, ну! – Говоря это, Дементий, однако, сделал шаг назад. Речь шла о другом, но ему вдруг вспомнились давние годы, когда он был молодым парнем и вместе с прочими наблюдал, как Агнея с девками своей рощи водит хороводы по весне. – Правды сказать не хотите, так пеняйте на себя! Я что, а вот люди ваших бесовых игрищ не потерпят!

– Люди! – Агнея уперла руки в бока и покачала головой. – Для людей же и стараемся! А благодарность где? Бранить нас, гнать, попрекать!

– Чем это вы для людей стараетесь?

– А вот тем! Сказала бы я тебе, да ведь не поверишь!

– Если нагородите с три воза – не поверю! Знаю я вас, хитрецов...

Выразительно вздохнув, Агнея отошла от двери и уронила руки.

– Ну, коли и ты, Демешенька, мне не веришь, чего уж... Вот хочешь людям добра сделать, а они на тебя наплетут, как три воза накладывают! Хотите гнать нас из села – гоните, а бог-то все видит! Уйдем, будем у отца на заимке жить, а вы тут пропадайте как хотите!

– С чего же нам пропадать? – Дементий, смущенный и озадаченный, бросил на нее угрюмый взгляд.

– Да что говорить! – Агния махнула рукой. – Коли у самых добрых соседей мне веры нет...

– Агния! – Дементий шагнул к ней. – Хочешь добра – так не крути, а говори как есть!

– Те волки... – Агния взглянула на дочь. – Они ведь слуги не мои, а хозяина моего...

– Ермошки! – рывкнул Дементий, мол, теперь-то все ясно.

На самом деле ясности не было никакой. В жизни Агнии, рожденной и выросшей на глазах у Милова, имелась лишь одна тайна. Никто не знал, где и как она раздобыла себе мужа. Ни один человек во всей волости не называл себя Ермолаевой родней. Никто не ведал, как он завелся на своей заимке и как Агния с ним столковалась, а только однажды она, недавно похоронившая родителей, явилась в Михаило-Архенгельскую миловскую церковь с незнакомым парнем, угрюмым и неразговорчивым, и попросила еще старого попа, отца Памфила, их обвенчать. Друг другу они подходили, как серый волк и белая овечка, но зажили, однако, дружно. И, как говорили, со дня своего венчания Ермолай в церкви больше не показывался. Отец Ираклид, повстречав его в селе, крестился и сплевывал за левое плечо. Однако Ермолай не имел себе равных в лекарском деле, нашептанными травками изгонял любую хворь. Обладал он и еще одним умением, драгоценным для всего села: мог повелевать ветрами и тучами, как своими псами. Не раз бывало, что в засуху везде поля сохнут, а над миловскими – дождь. Или, наоборот, в мокрое лето везде нивы мокнут, а над миловскими ведро. Ни разу на последние двадцать лет поля не било градом, не зажигало молниями, и потому Ермолая, хоть и сторонились, но уважали. Особенно люди опасались встречаться с ним глазами – говорили, от одного взгляда его темных глаз под косматыми бровями можно захворать. К облегчению миловцев, Ермолай и сам не отличался общительностью и в селе постоянно не жил: верстах в десяти, в лесу, у него была заимка, а вокруг он устроил несколько бортовых деревьев. Когда срочных работ на поле не находилось, он переселялся туда: следил за бортовыми соснами, собирал грибы и травы, выкашивал полянки и лужки у ручьев, топил деготь, жег в ямах уголь для сельского кузнеца Максима и занимался еще невесть какими загадочными делами.

– Так ты говоришь, хозяин твой не дома? – Дементий еще раз огляделся, думая, не пропустил ли Ермолая, спокойно сидящего у печи.

А ведь мог бы: Ермолай – колдун, не захочет показаться, так глаза отведет, не увидишь его, даже если наткнешься.

– Не дома. В лесу он, на заимке у себя.

– А как же... что же за звери? С чего он их из лесу выгнал?

Агния глубоко вздохнула, снова переглянулась с дочерью.

– Один баит, другой лает, – негромко сказала Елеса. – Шерсть черна соболя, очи ясна сокола.

– Что?

– Летит орлица по синему небу, крылья распластала, солнышко застлала. Марья Мария по воду ходила, ключи обронила.

При этом Елеса смотрела на мать, и Дементию показалось, что к ней-то девка и обращается. Может, та поняла, сам он ничего не понял.

Взглянул на Агнию: может, растолкует? Углы ее рта опустились, и вмиг перед Дементием оказалась другая баба: веселость и приветливость исчезли, как снятая личина, под ними обнаружилось лицо усталое, опустошенное. Дементия кольнула в сердце жалость: Агния-то баба простая, добрая, а с таким семейством какой груз тяжкий на себе волочет! Муж колдун угрюмый, сын балбес бесполезный, дочь блажная... И ведь виду не подаст, всегда веселая, приветливая... Лет двадцать назад он сам был не без мысли посвататься к Агние, да мать не разре-

шила: сказала, Агнейка вслед за Соломониной будет бабить⁵, ее у себя дома не застанешь, все хозяйство прахом пойдет.

– Это не звери, Демешенька. – Агня села и сложила руки на коленях. – Пора-то какая идет? Ефимьи Стожарницы⁶ прошли. Илья Муромец по небу на шести жеребцах черных разъезжает, грозовые тучи загоняет. Не слыхал, как вчера грохотало, раскатами так – это ведь к граду! Не смилуется Илья – останемся без хлеба.

– Это я все знаю, чай не малец. Ты о волках-то?

– Я про то и говорю. Это не волки. Это хозяин мой тучи грозовые прислал и велел всякий день нам их кормить. Прокормим до Ильина дня⁷ – смилуется Илья, не погубит поля. А не прокормим – словно звери лютые, обрушатся они на нивы наши дождем, грозой и градом.

– Охти мне... – Дементий перекрестился.

От Ермолая чего-то подобного ожидать было можно. Вот как он держит в повиновении грозовые тучи!

– Мне-то, думаешь, легко их прокормить? По вот такому горшку всякий день. – Агня кивнула в сторону печи. – Для людей ведь стараюсь, а люди на меня напраслину возводят. Помогли бы лучше...

– Так эти звери... тучи грозовые? И вы их кормите?

– Кормим, злобу умиряем, нивы наши оберегаем. А ты как думал? Слышал, в Желанове летошний год три поля молнией пожгло – тоже люди уже серпы наострили, а без хлеба остались.

– Ну и ну! – Дементий перекрестился. – Так это выходит... самого Ильи Грозового волки... псы...

– Его, а хозяин мой умеет их приманить, да и все. В Милове никому от тех волков вреда не будет, в том тебе Христом-богом клянусь

– Но ты, дядя Дементий, не говорил бы никому про них, – подала голос Елеса. – Ты-то человек понимающий. А сейчас соберутся глаза пучить, спугнут их, больше уж их кашу есть не заманишь, и пропадай наше жито.

– И от хозяина нагорит нам! – подхватила Агня. – Скажет, дал вам, двум дурам, дело простое, знай кашу вари да псов корми, а вы и того не смогли! Осердится, уйдет, и как мы без него?

– Я не скажу, – пообещал Дементий. – А нельзя ль мне... хоть чуток поглядеть...

Агня и Елеса снова переглянулись.

– Ин будь по-твоему, – сказала Агня. – Сам увидишь – мяса кровавого эти волки не едят.

Сгустились сумерки, месяц засиял, будто только что вынырнул из ведра с молоком. Вслед за Елесой Дементий вышел на крыльцо. Агня вручила ему живую курицу, и он, держа ее под мышкой, чувствовал себя несколько глупо.

– Тихонько ступай, дядя Дементий, – вполголоса предупредила Елеса. – Огня нельзя зажигать: и люди приметят, и зверей небесных спугнем. Иди за мной.

С большим горшком каши, прижатым к груди, она обошла избу и углубилась в длинные огородные гряды позади. Огороды выходили к ручью, впадавшему в Оку с другой стороны села, а за ручьем через небольшой выгон темнел лес. Понятно, почему загадочные волки приходят с этой стороны – тут и вода, и дебри, и от людей подальше.

⁵ Словом «бабить» обозначался весь процесс родовспоможения и первоначального ухода за роженицей и младенцем.

⁶ Ефимьи-Стожарницы – 24 июля.

⁷ Ильин день – 2 августа.

Елеса прошла через посадки капусты, гороха, репы и лука в самый конец, где стеной стояли заросли смородины.

– Ты здесь обожди. – Елеса показала старосте на самый раскидистый куст. – Сиди тихо, не шуми, не показывайся, чтоб они тебя не учуяли. Давай мне Малашку – семьдесят рубашек.

Горшок с кашей Елеса поставила под самый дальний куст, курицу взяла в руки. Дементий скрылся в смородине. Его била дрожь – и от вечерней прохлады, и от ожидания. Он был человеком опытным, не раз бивал и волков в лесу, но теперь дрожал от мысли, что рядом с ним будут две небесные грозовые тучи...

Елеса села наземь, подвернув под себя толстые полы черной, как в этих краях носят все взрослые женщины, клетчатой поневы. В селе все затихло, люди разошлись спать перед завтрашними работами, даже псы не лаяли. Ночные птицы перекликались в лесу. Закат остался за спиной, небо опускалось на землю морем влажного мрака, и только месяц светил, такой молодой и задорный, что ясно делалось, почему его зовут удалым молодцем.

Напряженно прислушиваясь, Дементий не услышал ни единого лишнего звука. Заглядевшись было на месяц, вдруг ощутил движение воздуха, кусты впереди заколебались. Вгляделся – и вздрогнул. Елеса стояла у дальнего куста, горшок с кашей стоял у ее ног. Склонившись, она опустила наземь курицу.

– Хлеба нынче нет, ешьте вот кашу, тучки серые, – тихо сказала Елеса.

Две крупные, проворные тени выскользнули из-за кустов и устремились к ней. У Дементия оборвалось сердце, он готов был вскочить, но удержал сам себя. В темноте белела рубаха Елеса и курица. Тени, не обращая внимания на ту и другую, вились вокруг горшка. Приглядевшись Дементий различил двух волков: по очереди засовывая морду в широкий горшок, они жадно ели чуть теплую кашу, чавкали по-собачьи. Елеса стояла и ждала, курица сидела у ее ног, недовольная, что ей не дали спокойно поспать у себя на насесте.

Но вот волки вылакали всю кашу, облизали дно горшка и сели перед Елесой. В отсветах месяца и звезд их глаза мерцали двумя парами зеленых светляков. Без боязни Елеса протянула руку и потрепала по загривку того и другого. Потом встала на колени, так что ее голова оказалась вровень с их мордами, и положила на них руки.

– Тучки вы мои небесные, слушайте меня! – тихонько сказала Елеса. – Больше вам ходить сюда не нужно. Люди вас видели, тревожатся. Не надо вам в село лазить, даже пусть и ночью. Проведают люди, выследят вас – и вам худо будет, и мне.

Волки поняли ее речь, чему Дементий не удивился: один понурился, а другой тихонько заскулил и стал совать морду в ладонь Елеса. Она ласково погладила его.

– Я голодными вас не оставлю. Завтра приходите, но ждите там, в лесу, близ опушки. На выгон не суйтесь. Как совсем стемнеет, я выйду. А теперь бегите прочь!

Она поднялась на ноги, а волки один за другим скользнули в темноту и растворились там.

Елеса посмотрела им вслед, потом подобрала курицу, сунула под мышку, взяла в другую руку пустой горшок и позвала:

– Дядя Дементий! Ты там жив? Вылезай, ушли они.

Дементий выбрался из-под веток, весь окутанный свежим духом смородинового листа.

– Чтоб я чего видел... – Передернул плечами и снял с шеи гусеницу. – Господи прости...

– Волков видел?

– Видел...

– А вот и Малашка – семьдесят рубашек! – Елеса тряхнула птицей под мышкой. – Чихать они на нее хотели, тучи небесные крови и мяса и нюхать не станут. Вот что, дядя Дементий! Ступай-ка ты домой и никому не говори, где был и что видел. Станут тебе про волков толковать – скажи, померещилось бабам. А они больше в село не придут, обещаю.

Проводив Дементия через огород и двор, Елеса выпустила его на улицу и заперла за ним калитку в воротах. Потом отнесла курицу в курятник, заперла его, выпустила пса и села на

крыльцо, глядя на месяц. Полночь... Сейчас... Хорошо, что они успели добраться до леса, иначе остались бы на огороде до зари, а это грозило бы бедой. Теперь придется ходить с тяжелым горшком до самой опушки и дальше.

Но долго сидеть было некогда – этой ночью ее еще ждала усердная работа...

Глава 2

С этими двумя волками Елеса встретилась, когда на Прокопия⁸ пошла в лес отнести отцу хлеба и крупы. «Видно, Ермошкины бесы ему сено сметали в копны!» – с завистью говорили в селе: никто не видел, чтобы Ермолай появлялся на своих покосах, а к утру все сено было собрано и сметано в стога. Он сидел на своей заимке давно, и у него должны были выйти припасы. Елеса несла отцу свежий хлеб, несколько первых огурцов, мешочек крупы, кусок сала в заплечном коробе и лукошко переложенных сеном яиц. Ермолаева заимка лежала верстах в десяти от села, в глухом лесу. Мало кто смог бы пробраться сюда по еле видимым тропинкам через чащу, обойдя топкое болото и одолев две-три мелких лесных речушки. Кажется, ни разу здесь не было никого, кроме самого Ермолая и его домочадцев: если кому-то в селе требовалась помощь, то передавали Агнее, а она посылала за мужем кого-то из детей, чаще – Елесу.

Елеса дорогу знала хорошо. Тропа на Желаново ныряла в лес, но Елеса шла по ней не более версты, а потом сворачивала прямо в чащу и еще версты три шла по ей одной понятным приметам. Потом начиналась новая тропа – на Ненаглядово, и по ней она шла еще версты две.

До заимки оставалось уже недалеко, как вдруг тонкое чутье подсказало Елесе: сзади кто-то есть. Донесся шорох ветвей. Она оглянулась и вытаращила глаза – из кустов на нее смотрел волк. Тут же рядом вынырнула голова второго.

Это что еще за новости! Бывает, что летом волки, когда стая расходится, охотятся парами, но это были не волк и волчица, а два молодых самца. Елеса не столько испугалась – ее испугать было трудно, – сколько удивилась: уж где она не ждала встретить волков, так здесь, вблизи отцовской заимки!

– А ну, добры молодцы, ступайте своей дорогой, а я пойду своей! – властно приказала она.

Волкам в ответ полагалось бы исчезнуть в зарослях, но напротив: они вышли из кустов и медленно, пригнувшись и приглядываясь, направились к ней. Елеса слегка дрогнула: звери выглядели плохо, как изголодавшиеся: бока впалые, шерсть свалялась. С чего бы – ведь не зима на дворе! Не бешеные ли, сохрани Праведный⁹! С чего им голодать в самый разгар лета, когда в лесу полно мелкой живности и ягод. На морде того, что был покрупнее и шел первым, и впрямь виднелись синие пятна от созревшей черники. Желтые глаза впивались в Елесу, обшаривали ее с головы до ног.

Она попятилась.

– Не балуй! – строго велела она первому и быстро огляделась, выискивая чего-нибудь похожее на оружие. – Я вам не добыча, ступайте своей дорогой!

Волк было присел, отступил, но, стоило ей сделать шаг, кинулся наперерез. Елеса подхватила с земли обломанный сосновый сук и замахнулась; волк опять отскочил. Увлеченная им, Елеса упустила из виду второго, как вдруг услышала за спиной шум, ощутила близкое движение – и что-то тяжелое обрушилось ей на плечи. Волк прыгнул и вцепился в короб у нее за спиной. От сильного толчка Елеса упала, распласталась было по земле, ощущая, как зверь всей тяжестью навалился ей на спину и дышит в самый затылок. Любая девка или баба ума бы лишилась от страха, но Елеса, отчетливо сознавая, что вот-вот в шею ей выпьются клыки, сохраняла хладнокровие. Не на такую напали...

Согнув колени, она перевернулась на бок, живо сбросила с плеч короб вместе с волком, откатилась, вскочила на ноги. Второй волк прыжками мчался к ней. Елеса сделала несколько

⁸ Прокопий – 21 июля.

⁹ Праведный – одно из наименований лешего.

быстрых шагов в сторону, а потом свела ладони вместе, подняла руки и совершила длинный прыжок вперед, как делают, собираясь нырнуть в воду, одновременно разводя руки в стороны.

Ее тело взмыло в воздух, стало падать... и исчезло, не коснувшись земли! На лесную землю упал буровато-серый заяц-русак – вернее, зайчиха. Не оглядываясь, она длинными прыжками устремилась в чащу и мгновенно пропала с глаз – только хвостик пушистый мелькнул.

Избушка из крепких толстых бревен, под дерновой крышей, пряталась под высоченной елью. Трубы на крыше не было: отоплялось жилье печью-каменкой по-черному, как встарь. Заяц-русак выскочил на поляну, и в это самое мгновение дверь отворилась. Ермолай, согнувшись, шагнул через порог и слегка вздрогнул, заметив движение. Прямо в длинном прыжке заяц перекувырнулся в воздухе... и на поляне появилась девушка с растрепанной темно-русой косой. Пробежала несколько шагов, ловя равновесие после прыжка, замахала руками, остановилась и ладонями закрыла себе глаза. Постояла так, потом медленно опустила руки, моргая и нелепо вращая глазными яблоками. После пребывания в облике зайца, когда даже на бегу видишь все вокруг, по бокам и сзади, кроме только кончика собственного носа и хвоста, возвращение к человеческому зрению – только перед собой, – воспринималось как внезапная слепота на три четверти.

Ермолай, не раз уже видевший это превращение, только хмыкнул. Был это крепкий мужик на пятом десятке, с густыми, чуть волнистыми русыми волосами, уже чуть пронизанными сединой, с такой же густой, длинной бородой, припорошенной белым на щеках. Черты у него были крупные, твердые, лицо смуглое, густые брови черны как уголь, а изжелта-серые пронзительные глаза всегда смотрели отстраненно. Не угрожающий, отрешенный, взгляд этот наводил на людей жуть: казалось, Ермолай смотрит на тот свет, и его же увидит всякий, кто с ним повстречается глазами. Когда Ермолай бывал в селе, люди ходили, оглядываясь, и все дружно испытывали облегчение, когда он убирался к себе на заимку. Но при том жило в волости мнение, что нет такой хвори и беды, с какой Ермолай миловский не совладал бы.

– Здорово, дочка! – окликнул Ермолай, когда Елеса пришла в себя.

Голос у него был низкий и глухой; казалось, он исходит не из рта, а откуда-то из самого чрева.

– Оооо... батюшка! – Утвердившись на ногах, Елеса всплеснула руками. – Ты не поверишь, что случи... Повстречала я на тропе ненаглядновской двух волков, да какие-то чудные волки! Ни слова, ни взгляда не бояться! Кинулись на меня, один на спину прыгнул! Думала, загрызет – едва сумела перекинуться да бежать! Что это такое? Откуда у тебя здесь такое диво? Или ты повздорил с кем?

В ответ на эту речь Ермолай глухо рассмеялся.

– Повстречалась ты, стало быть, с этими двумя удалцами? Говоришь, хотели съесть?

– Истовое слово! На спину кинулись – хорошо, там короб висел... Ахти мне! – Елеса снова всплеснула руками. – А короб-то! Я ж его там сбросила! И с яйцами лукошко – поди, побились все! А там и крупа, и сало, и хлеб... Тебе все несла!

– Да уж, несла, да не донесла! – Ермолай снова хмыкнул. – Сдается мне, ни хлеба, ни сала, ни яиц не видать мне. А короб – сходи подбери. Больше уж не тронут.

– Не тронут? Ты верно знаешь?

Ермолай, только хмыкнул: он всегда говорил то, что знал.

– Ступай, хоть крупу принеси. Я грибов набрал, похлебку сделаем. А этим удалцам я уже выдам пирогов...

– Батюшка, да кто ж их прислал? Враг какой?

Простые волки не смели разбойничать так близко от Ермолаева жилья и не напали бы на нее.

– А вот узнаешь. Ступай за коробом, их там уже нет. Потом увидишь, что будет.

После этих слов никто не стал бы допытываться дальше, а Елеса с раннего детства привыкла, что они завершают разговор. Она только поджала губы и пошла назад к ненаглядовской тропе.

По пути Елеса была сильнее против обычного настороже, хотя и чуяла, что испугавших ее зверей поблизости нет. Вот и то самое место. Еще издали она увидела валяющийся посреди тропы короб; подойдя ближе, заметила на мху обочины перевернутое лукошко. Лесная земля вокруг была усеяна кусками белой скорлупы от разбитых яиц. Ни одного не уцелело, но они разбились не оттого, что выпали из лукошка. Не только от того. Все до одного яйца, какие не разбиты, те раскусаны, содержимое вылизано начисто, так что даже муравьям почти не осталось поживы.

Елеса подняла короб – он был пуст, не осталось даже той тряпочки, в которую Агня заворачивала сало. В трех шагах лежал мешочек с крупой – разорванный. Судя по всему, его надорвали зубами, наступив когтистой лапой. Часть полбы высыпалась на тропу. Шепотом бранясь, Елеса встала на колени и собрала что смогла. К зерну примешалось немного мелкого лесного сора, но не выбрасывать же его, особенно в эту пору, перед жатвой. Ссыпав полбу обратно в мешочек, Елеса увязала его и бросила в короб с полуоторванной крышкой, короб накинула на плечо. Еще раз огляделась – ни малейшего следа волков. Сожрав припасы, они убралась куда подальше. Елесе лишь оставалось обругать их кастью облезлой и тронуться назад к заимке: отец ведь велел ей вернуться.

– Все сожрали! – объявила Елеса, войдя в низкую тесноватую избушку. – Вот. – Она положила на стол мешочек с полбой. – Больше ничего. И яйца, и хлеб, и сало – ни крошки не осталось. Даже ветошку сальную, видать, сглотнули.

– Вот им счастье нынче выпало! – хохотнул Ермолай. – А то ведь отощали совсем было. Чуть ноги таскали. Я им говорю: друг друга-то не сожрите.

– Откуда они взялись? – Елеса села у стола и уставилась на отца.

– А ты чего расселась, как боярыня? Хоть полбу принесла – грибы вон под окном, давай, займись.

Ермолай часто уклонялся от ответа, и Елеса привыкла к этому: не все, что знал отец, полагалось знать ей. Разбирая грибы, она невольно задумалась: как вышло, что ее разговорчивая, приветливая мать сошлась с молчаливым, угрюмым на вид отцом? С дочерью Ермолай был еще общительным, если сравнить с другими. На него она немного походила лицом: что-то общее было в чертах, в глазах, а больше в выражении, уверенном и чуть настороженном, чуть отстраненном: увидев их вместе, всякий догадался бы, что это отец и дочь.

Елеса сварила кашу, они поели вдвоем, потом Ермолай ушел на озеро ставить на ночь сети. Елеса прибралась в избушке, вымела, оттерла мхом с песком горшки и плошки – отец не слишком утруждал себя этим, – зачiniла, сидя на завалинке снаружи, его серый сукман. Вынула и взбила свой постельник, расстелила на лавке. Ермолай все не шел. Елеса сидела в тишине, слушая птиц. Потом вдруг разобрала, что отец с кем-то разговаривает. Удивилась: отец не обещал привести гостя, а сам кто же смог бы сюда дорогу сыскать? Уж не братишка ли пожаловал?

Выйдя наружу, Елеса увидела отца у края поляны. На первый взгляд, он был один... но тут же рядом мелькнуло нечто серое, и Елеса с изумлением узнала сперва одного волка, потом второго! Будто псы, те вились вокруг Ермолая, прижимали уши, лънули к коленям.

Те самые! Елеса охнула, Ермолай посмотрел в ее сторону.

– А вот и дочка! Ну, вы, ухари, ступайте к ней, кланяйтесь, прощенья просите. Напугали девку, побегать заставили, да еще и припасы мои подъели!

Ермолай говорил вроде бы сурово, но Елеса слышала в его глухом голосе скрытый смех. Стоя у двери избышки, она смотрела, как сперва крупный волк, а за ним второй бредут к ней через поляну, и вид у них точно как у пристыженных псов. Один хромал сразу на две лапы – заднюю правую и переднюю левую. Елеса ждала, уже без малейшего страха, только в недоумении. Она знала, что ее отец может и знает многое – а еще больше такого, о чем она не знает. Но волки! Он умеет и отогнать их, и напустить, но зачем они пришли к его избышке?

Звери тем временем приблизились к ней. Шли, опустив головы. В двух шагах от Елеса сели на землю, потом легли на брюхо, уткнувшись мордами в хвою и мох.

– Прощения просят, – пояснил Ермолай. – Ты уж прости их, дочка... по-христиански!

– Коли ты велишь, я прощу... но отчего бы им свою вину не отслужить? Пусть поймают нам косулю, принесут взамен того, что съели.

Ермолай опять хмыкнул, а оба волка стали тонко, жалобно подвывать.

– Что это за диво?

– Не могут они косулю поймать. Лягух и тех не едят, не лезет в пасть.

– Они что – хворые? Молодые же, зубы вон такие!

– Зубы-то у них... Эх! Ступайте, сынки! – Ермолай махнул рукой. – Нынче не будет вам ужина, вы свое уже съели. Да и мое заодно. Завтра к обеду подходите, уху сварим.

Волки вздохнули и неохотно убрались с поляны в лес. На опушке оглянулись с тоской в глазах. Елеса таращилась им вслед. Ермолай снова хмыкнул.

Темнело, пора было спать. Выпала роса, насытив воздух плотным, хоть руками разводи, запахом земли и трав. Ермолай лег на конике у печи, Елеса – на лавке. Спала она крепко, но вдруг проснулась, чувствуя рядом движение. Донесся легкий скрип двери, потянуло ночной прохладой леса...

– Дочка! – шепотом окликнул Ермолай. – Поди сюда.

– Что там? – Елеса откинула одеяло, спустила ноги с лавки.

– Выйди. Осторожно. Смотри... Зайцем гляди.

Ермолай мог бы и не предупреждать. С детства Елеса обладала «заячьим зрением», и вызвать в себе эту способность ей было не труднее, чем обычной девке – открыть глаза. «Заячий глаз» ночью видит почти так же хорошо, как днем. Он различает только два цвета: синий и зеленый, но среди густой синевы неба и зелени леса других почти и нет. Будучи маленькой, Елеса удивлялась, почему другие люди так слепы ночью, но мать ей объяснила: тебя нам зайцы принесли и на память «заячий глаз» оставили, а ты смотри, никому не рассказывай, а не то позавидуют – отнимут.

В детстве Елесе устраивало такое объяснение. Позже она поняла, что отличается от других людей не только этим.

В рубахе, босиком, она бесшумно вышла наружу. Ермолай молча показал ей что-то. Она перевела взгляд под стену избы и вздрогнула: там кто-то лежал! Два человека... двое мужчин вытянулись прямо на голой земле и крепко спали, подложив руки под головы. Едва не охнув, Елеса зажала себе рот рукой.

– Не бойся, – вполголоса успокоил ее Ермолай. – Хоть криком кричи – не проснутся. Я уж так и этак пытался их разбудить, вызнать, кто такие да откуда – не сумел. Уж очень сильные чары на них наложены. Не наши какие-то.

– Чааары... – протянула Елеса, начиная понимать. – Так это те самые... волки?

– Перевертыши они, да подневольные. Кто-то их волками оборотил и в лес пустил. А они себе даже пропитания промыслить не могут. Лягушкой брезгают. – Ермолай глухо засмеялся. – Видать, знают: если хоть раз живую кровь попробуют, сами хоть кого разорвут, хоть мышь лесную, то все – оставаться им волкам на весь век. Вот и маются, голодают. Грибами сырыми, ягодами питаются. Ко мне пришли – еле ноги волочили, брюхо к хребту приросло. Еще день-

два – и сдохли бы. Я уж их откормил понемногу, да все голодны. Как хлеб учуют – чуть из шкуры не выпрыгивают. Вот и на тебя напали – хлеб учуяли.

Елеса слушала, разглядывая лежащих. Потом, осторожно ступая, подошла ближе, приглядываясь. Оборотни были еще молоды. Один, лет двадцати пяти, с продолговатым худощавым лицом, спутанными темными волосами и бородкой, с надломленными густыми темными бровями. Второй еще моложе – безбородый отрок, русые волосы грязны и спутаны, но видно, что густы и вьются красивыми волнами. Лицо покруглее, прямоугольный лоб, темные брови, нос довольно крупный. Оба были недурны собой, хоть и вид имели довольно жалкий. Одежда их – невольные оборотни так и носят ее под шкурой, – была хорошей, добротной, не обноски какие-то, хоть и пострадала уже от лесной жизни.

– Они каждую ночь оборачиваются, да только спят непробудно, – сказал Ермолай. – В полночь. А на заре опять зверями делаются, и тогда уже их легко разбудить. Жаль, в зверином облике сказать не могут, кто на них такую беду навел да за что.

– Может, ни за что... – задумчиво сказала Елеса. Приятные лица оборотней смягчили ее сердце, и она уже не сердилась за утреннее происшествие. – Красивые молодцы. Может, по злобе... по зависти... Или из ревности бабы какие...

– Бывало и так. – Ермолай помолчал. – Был случай в самом Плечееве. Полюбил молодец боярскую дочь-красавицу, а она за другого наладилась идти. Нашел он хитреца одного, уговорил подсобить. Как повез жених невесту в церковь – через волчий волос переступил да и обернулся волком. С коня пал, в темный лес убежал. Невеста поплакала да и пошла за того, второго. А первого жениха ее так и не сыскали, весь век волком прожил.

– Так может, это он? – Елеса оглядела того и другого, прикидывая, кто из них жених.

Всем известно, что во время свадьбы злые люди легче всего могут превращать людей в волков, особенно самих новобрачных.

– То давно было, лет уж сорок тому, а этим сорок разве что на двоих будет.

– И что же они – навек так останутся?

– Того не ведаю. Может, навек их зачаровали, а может, на срок.

– Как же узнать?

– Хорошо бы чары с них снять, а то мне не с руки их весь век кормить. – Ермолай хмыкнул. – От них ведь пользы не дождешься: ни на лов пустить, ни на злыдня какого натравить. На вид звери лютые, а по сути не опаснее котят.

– Это потому что они... люди.

– Люди злее зверей бывают. Звери чарами не балуются.

– Как такие чары снимаются?

– Хлебом кормить не помогло, имен их мы не ведаем. Попробуй по рубашке им сшить, из нового полотна, беленого, каждую за одну ночь. Может помочь. Если тебе ради них трудов не жаль...

– Я попробую. Как сошью, так принесу.

С неохотой отведя глаза от лица младшего из невольных волков, Елеса ушла обратно в избу и легла, но заснула с трудом. Мысленно она оставалась возле оборотней, особенно младший стоял у нее перед глазами. Заячьим глазом она рассмотрела его хорошо и была уверена: его бы умыть, причесать, и стал бы красавец. Может, он и был женихом на неудачной свадьбе, а второй – дружка? Невольно она почувствовала даже зависть к неведомой невесте этого удалца. Да куда ей – такому только дочь боярская в версту.

Но кто они? Елеса их не знала, Ермолай не знал – стало быть, не из ближних краев. Не из Желанова, не из Ненаглядова. Откуда же? Из каких краев прибежали, ног не чуя? Она легко себе представляла ужас невольных волков, несущихся без памяти через лес в надежде убежать от злого колдовства. Когда сама Елеса, в три года от роду, впервые превратилась в зайчонка, она не испугалась, только удивилась. Но быстро привыкла и вскоре уже одинаково уверенно

чувствовала себя и в человеческом, и в заячьем теле. Иное дело – эти двое, обернутые не по своей воле и уже взрослыми. И ходить-то на четырех лапах, поди, не сразу приспособились, где уж там охотиться! Кабы не Ермолай, и правда, с голоду бы померли...

Елеса хотела дожидаться зари, но заснула. Когда проснулась, солнце уже вознеслось над вершинами, туман таял, а под стеной избы было пусто...

– Батюшка, – начала утром Елеса, когда они сели доедать вчерашнюю кашу, – а не ты ли их... того... серыми шкурками покрыл? Иначе почему они тебя как отца родного слушаются?

– Я? – Ермолай удивился. – Да я их знать не знаю. Стал бы я их обращать, чтобы потом кормить весь век, будто я им мамка? Дела мне больше нет? Сейчас на озеро схожу, сети выну, сварю ухи – так они и съедят, нам разве по ложке достанется. Нужна мне такая забота?

Они прикончили кашу, а потом, когда Елеса, вымыв горшок и ложки, вернулась в избу, Ермолай вдруг сказал:

– Вот что, дочка. Забирай-ка ты этих удалых молодцов к себе, в Милово.

– Что? – От удивления Елеса чуть не выронила горшок, который ставила на полку.

Ей представилось: два волка сидят за столом в материнской избе и едят кашу ложками.

– Мне здесь прокормить их трудно: рыба, да грибы, да из дичи кой-чего, да ведь им еще поди приготовить, они сырье есть не станут, а я им что, челядь? В селе вам легче: там и корова, и козы, и куры, и припасы кой-какие еще есть.

– Но не можем же мы их в селе держать? – Елеса застыла, глядя на отца. – Зверей лесных! Люди увидят... Сам знаешь, что будет.

– В селе их держать незачем. Пусть в лесу сидят, а как стемнеет, приходят в огород, будете им пропитание выносить. Тебе же легче – иначе ты ко мне сюда не набегашься, то с крупой, то с яйцами, то с творогом, то еще с чем. А если и правда хочешь с них шкуры звериные снять... Не передумала?

– Ну... – Елесе смутила мысль, что два оборотня отдаются на ее попечение. – Попробовать бы можно...

– Тебе и то сподручнее. Сошьешь рубахи – сразу и наденешь на них. Искать не придется.

Елеса привыкла слушаться отца: лучше всех в семье она понимала, как велико его скрытое могущество. Если он решил передать ей заботу о двух невольных волках, оставалось подчиниться. Ее томили опасения – в селе трудно скрыть такое диво, как два лесных волка в огороде, уж слишком много вокруг чужих глаз, а ночи теперь короткие и светлые. Однако мысль стать ненадолго их повелительницей щекотала сердце и воодушевляла. Вспоминалась Баба-Яга, по чьему свисту звери лесные сбегались со всех сторон...

В полдень оба волка уже сидели перед избой, словно два преданных пса. Елеса вынесла им горшок ухи и смотрела, сидя на завалинке, как они жадно едят. Младший уступал старшему, а тот, опомнившись, отодвигал голову, давая тому тоже поесть. Елеса вглядывалась, пытаясь различить в зверином облике уже известные ей человеческие черты, но нет. Единственное, что было заметно – как волки эти двое были довольно неуклюжи, а старший хромал на две ноги.

– А теперь слушайте, сынки! – сказал волкам Ермолай, когда они поели. – Вы не гривна золотая, нечего вам у меня на шее висеть. Пойдете с дочкой, – он указал на Елесу, уже готовую в дорогу, с пустым коробом за спиной, – в село Милово. Жить будете в бору, а перед ночью пробираться в огород, там она вас кормить станет. Людям на глаза не лезьте – увидят вас в селе, живо мужики застрелят. А будете умны – авось получится вам человеческий облик вернуть.

Волки опустили головы, замели хвостами, стали тыкаться лбами в колени Елесе и Ермолаю. Они сохраняли человеческий разум, понимали, какое несчастье с ними случилось, и очень хотели избавиться от серых шкур.

В этот раз Елеса шла домой, сопровождаемая парой серых лесных псов. Хромой быстро уставал, садился на дорогу с грустным видом, и Елесе приходилось ждать, пока он отдохнет. Добравшись до места, она, не выходя из леса, показала им тропку через выгон и смородиновые кусты на задах своего огорода. В тот же вечер они ждали ее на условленном месте. Елеса пришла с Агнеей – показать матери отцовский подарочек. Агнея, шепотом охая, качала головой и всплескивала руками. В следующие дни молоко от коровы и коз шло на сыр и творог, их волки охотно ели. Они пожирали яйца, кашу, хлеб, прошлогоднюю вялую репу – все, что Агнея могла им уделить.

Елеса тоже понесла убыток. На другой день после возвращения с заимки она открыла большую укладку со своим приданым и хмуρο в нее уставилась. Обилия женихов она не ожидала, хоть срок замужества для нее уже подошел. Однако, как порядочная девица, исправно посещающая посиделки, приданого она набрала достаточно, и теперь частью его предстояло пожертвовать. Хорошо помня, сколько труда вложено в каждый кусок полотна, она долго с сомнением разглядывала косяки плотного нового льна, сотканного ее руками и отбеленного на снегу, но все же выбрала два куска, пригодных на мужские рубахи. Вздохнула: не для волка лесного – для будущего мужа, для тестя и деверя, еще ей незнакомых, назначалось это полотно! Не так чтобы она жаждала этого знакомства, но когда-нибудь придется же. Когда сыщется удалец, что не побоится взять за себя дочь и внучку ведунов.

В первую ночь она взяла один кусок, разрешила на пять частей¹⁰ и принялась шить, сидя под оконцем, где было светлее от месяца. Агнея спала, и Елесе не требовалось мешать ей, зажигая огонь: она открыла «заячий глаз» и видела свою работу немногим хуже, чем обычная девка при свете дня. Сама над собой посмеивалась тайком: ой да где же это видано, чтобы заяц волку рубаху шил?

Шить рубаху, даже мужскую, покороче женской, за одну ночь – работа непростая, тем более что летняя ночь не так уж длинна. Уже на белой заре Елеса кое-как свернула готовую рубаху, сунула в ларь и мгновенно заснула. Поспать ей удалось недолго – вскоре Агнея встала доить корову, собирать яйца, варить кашу – себе на завтрак, волкам на ужин. Весь день Елеса в полусне ворошила сено, а вечером, покормив волков, сразу завалилась спать. В этот вечер их и заметила Нушка Квашня: усталая Елеса позабыла накинуть чары, отводящие глаза.

Еще два дня Елеса «отдыхала» за работой на покосе и в огороде. Но после посещения старосты Дементия поняла: тянуть нельзя, иначе два волка погубят и себя, и их с матерью. Проводив Дементия, снова открыла укладку и вынула второй косяк полотна...

– Сегодня далеко не уходите, – предупредила Елеса волков, когда в густых сумерках пришла на опушку леса кормить их. – Ложитесь здесь. Утром увидите, что будет.

На прощание она потрепала обоих по головам, взяла в ладони морду младшего и вгляделась в волчьи глаза, мерцающие зеленым. Под руками ее была плотная длинная шерсть, пахло зверем, из пасти вырывалось горячее дыхание, хоть и не такое зловонное, как у обычных волков, питающихся еще теплым сырым мясом, а то и падалью. Трудно было поверить, что подлинный облик этого существа совсем иной. С тех пор как оба невольных волка держались близ Милова и приходил к ней за едой, Елеса раза два отыскивала их ночью: тянуло увидеть их истинный облик. Поев, они удалялись в лес, но недалеко: человеческая природа заставляла их держаться поближе к жилью, хотя это-то жилье и грозило им смертельной опасностью. Застанут их мужики возле стад – устроят облаву, застрелят, заколют рогатинами. А эти два обалдую ни убежать, ни защититься не сумеют, с грустью думала Елеса. Смогут они хотя бы ради спасения своей жизни впиться зубами в чье-то горло? Или сядут наземь и закроют лапами головы, как дети? Елеса находила их в десяти шагах от опушки: они спали под кустом, и с каждым

¹⁰ Традиционный крой русской рубахи состоит из пяти прямоугольных частей, которые больше никак не подрезаются, не считая отверстия для головы; рубаху можно распороть и собрать из нее почти то же полотно.

разом их одежда выглядела все хуже и хуже. Правда, отъевшись, они выглядели уже не такими измученными. «Заячий глаз» позволял Елесе хорошо рассмотреть их. Она даже решалась прикоснуться к лицу младшего, убрать прядь грязных волос, провести пальцами по высокому лбу. С замиранием сердца она думала: а что если он вдруг возьмет и проснется? Откроет глаза, приподнимется и увидит ее? Мысль об этом оведала душу и радостью, и страхом. Что он подумает, увидев перед собой незнакомую крестьянскую девку? Примет за ведьму? Решит, что она и обернула его волком? Это если он не знает, кто виновник его беды. Но хотя бы скажет, кто такой и откуда.

Да что мне за дело, обрывала Елеса эти мысли. Убежит – только хвостом вильнет. Но сон их был так глубок, что ее присутствия они не замечали. Все сильнее Елесе мучило любопытство: кто же они такие? Чье колдовство их обернуло зверями, по какой вине? Агнея прислушивалась к бабьей болтовне, но никаких слухов о свадьбе, где бы жених с приятелем обернулись волками, не доходило. Да и не время сейчас для свадеб, Ильин день на носу.

В последний раз Елеса пришла в лес вместе с матерью. Рубашки она сшила, но к ним требовалось «сильное слово», а им Елеса не владела. «Сильные слова» принято передавать от бабки к внучке, но Соломонида умерла еще до замужества Агinei, Елеса бабкиного веку не захватила, и учила ее мать. Заучить «сильные слова» может даже дитя, но применять их к делу позволено при двух условиях: когда исполнится тридцать лет и если к тому времени умрет наставница.

Агнея не имела «заячьего глаза», и Елеса, держа под мышкой две свернутые рубахи, вела мать за руку. Та шепотом охала, то и дело спотыкаясь. Наконец они пришли к кустам, где Елеса в сумерках кормила волков. Приближалась она с замирающим сердцем: что, если их здесь не окажется? Вдруг они этим вечером наткнулись на ловцов? Или тот, кто их заколдовал, приказал им убраться от нее подальше? Тогда и труды все пропадут даром, и тайна будет мучить ее до скончания века.

– Вон они, – шепнула Елеса матери, разглядев под кустами две знакомые фигуры.

– Где? Не вижу ни шиша.

– Тихонько иди со мной.

Елеса подвела Агнею к спящим, обе опустились на колени. Свет располневшего месяца сюда не проникал, под кустами было совсем темно. Пошарив по земле, Агнея нашла две головы и ойкнула, будто наткнулась на колючего ежа.

– Вот сорочки. – Елеса расправила обе рубахи и встряхнула. – Сперва старшего.

– Где он?

– Вот здесь. – Елеса взяла руку матери и положила на нужную голову.

Та пощупала лицо и бороду.

– Как ты их различаешь?

– У другого бороды нет, – хмыкнула Елеса. – Ему годков двадцать, а может, и меньше. Ну, давай.

Агнея взяла рубаху, накрыла ею лежащего и зашептала:

– Встану благословясь... из ворот в ворота... в чисто поле... к Окияну-морю... На Окияне-море лежит бел-горюч-камень, на том камне стоит золотой престол, на том престоле сидит сама Матерь Божья Богородица, по правую руку с ней – Михаил-Архангел, по левую – бабушка Соломонида, что принимала Христа. Помолюсь и поклонюсь Матери Божьей Богородице: сними ты, Матерь Божья Богородица, уроки и призоры с сих двух добрых молодцев. Как при свете солнышка ясного с леса и поля туман сырой стекает, тает и исчезает, так бы и с них двоих снялись волчьи шкуры и назад не пристали. Как скоро исчезает дым, да исчезнут. Берет Матерь Божья Богородица острый булатный нож, отсекает и отбрасывает чары злые, уроки и прикосы, прогоняет чары напущенные прочь. Матерь Божья Богородица с сих добрых молодцев шкуры звериные снимет, святой водой умывает, облаком небесным утирает, частыми звездами обты-

кает. Умывает и говорит: будьте вы, добры молодцы, краше ясного солнца, светлее светлого месяца...

Агня говорила «сильное слово», едва различая белеющее под ее руками полотно рубахи, но Елеса видела больше. Над рубахой начал подниматься черный дым – это выходили чары. Сперва тонким облаком, они все густели, свивались в подобие бесплотной, но опасной змеи.

– С кого пришли – к тому и подите! – вырвалось у Елеса. – Кто зла желает мне, пусть его возьмет себе!

И черный дым исчез. Лежащий дрогнул, Агня отпрянула и быстро прошептала:

– Да будут слова мои крепки и забористы, аминь-аминь-аминь!

Они замерли, ожидая, что будет. Лежащий простонал и пошевелился; у Елеса оборвалось сердце, но он снова затих.

– Вышло, нет? – шепнула Агня. – Все-таки худо делать, когда имени не ведаешь...

– Мать Богородица ведает. Давай на второго.

Если чары сняты, то молодец уже можно разбудить. Но не сейчас – незачем ему смотреть, как будут делать то же с младшим братом. Агня накрыла рубахой второго парня и снова зашептала. И опять над ним взвилась змея из черного дыма, опять растаяла, когда Елеса отослала ее прочь.

Закончив, они еще постояли, ожидая, что будет.

– Пойдем-ка, матушка! – Елеса тронула мать за руку. – Вышло, нет ли – утром узнаем. Незачем нам тут быть, когда они... очнутся.

– И то правда, – согласилась Агня, поднимаясь с колен. – Нас еще виноватыми сочтут. Не отмоешься потом...

Получив от матери в наследство ее умения, Агня не могла ими не пользоваться, но хорошо знала, как опасно это ремесло и как легко за доброе же дело вместо благодарности можно получить поношение. Истинно добрый человек благодарен за сделанное ему добро, а иной в ответ и возненавидит, убеждая себя, что он ничем тебя не хуже, а что нуждался в помощи, так не по своей вине...

Ступая как можно тише, они ушли от кустов и через выпас и огород пробрались домой. Легли спать, но Елеса до утра едва смогла задремать. Мысли ее были в лесу. Два бывших волка очнутся людьми – она верила в это. Должны очнуться. И, быть может, при свете утра они сами постучат к ним в ворота. А может, к соседям. Будут изумлены и растеряны, не зная, где находятся и как сюда попали. Вспомнят ли они, что с ними было? Может быть, утром ей придется впустить их в избу и посадить за стол уже как людей, что крестятся перед тем, как взяться за кусок хлеба. И они наконец назовут свои имена...

Но никто ее не будил, кроме петухов. Встало солнце, а никто не появлялся. Наконец Елеса пробежала через огород и углубилась в лес.

Вот знакомые кусты. Под ними – никого. Ни единого следа, да и откуда ему быть на мягком мху и старой хвое. И волки, и две рубахи исчезли.

Получилось или нет? Не придут ли в сумерках снова два голодных волка, неспособных раздобыть себе пропитания в лесу?

Весь день Елеса едва замечала, что делает, ожидая каких-то вестей: от людей, от зверей ли. В сумерках пошла к кустам, неся в горшке яичницу и творог. Но никто к ней не пришел. Она просидела под кустом до полной темноты, но лишь месяц глядел на нее с неба. Месяц – волчий брат, он-то все знает, да мало скажет.

Что означает это исчезновение? Сделались два невольных волка снова людьми, или попытка снять чары лишь изгнала их в неведомые края? Две рубашки, сшитые ночами из нового льна, не раскрыли тайну, а лишь сделали еще более мучительной. В глубине души Елеса ждала вестей, но дни проходили один за другим, а тайна оставалась нерушимой...

Глава 3

Очнувшись, Всеволод не сразу понял, где находится. Повернулся и ощутил, что лежать жестко и неудобно, что все тело болит. Открыл глаза – резанул яркий свет, какого не бывает в горнице. Распахнул глаза и сел, одолевая боль в спине.

Елкин корень! Лес! Кругом утренний сосновый бор, запах земли, хвои, смолы, влажного от росы мха. Он сидит прямо на лесной дороге, над головой щебечут птицы. И ничего... никакой даже мысли, как это понимать. Как он сюда попал?

Быстро оглянувшись, Всеволод наткнулся взглядом на человеческое тело в двух шагах от себя и сразу узнал родного брата Романа. Обрадовался: хоть что-то хорошо, он здесь не один.

– Роман! – Кинувшись к брату, Всеволод затеребил его за плечо. – Романа, Ромашок! Очнись!

– А? Что? – прохрипел Роман, попытался встать, но тут же скривился и схватился за плечо. – Больно,пусти!

Всеволод отпрянул. Стоя на коленях, оглядел брата. Лицо бледное, исхудавшее, на высоких острых скулах два красных пятна, волосы грязны, борода, всегда тщательно ухоженная, спуталась.

Родные братья, Роман и Всеволод во внешности не имели почти ничего общего. Высокий и худощавый, Роман пошел в бабку; продолговатое узкое лицо, темные волосы, изломленные темные брови. Островатые черты в сочетании с темной же бородкой придавали его облику нечто аскетичное, возвышенно-духовное, даже иконописное. Всеволод, на пять лет его моложе, несколько ниже ростом, более плотный, уродился в мать: лицом покруглее, с крупными чертами, ясными светло-кариими глазами, слегка вьющимися русыми волосами, он выглядел воплощением юношеского здоровья и задора. Несмотря на несходство вида и нрава, оба брата были привязаны друг к другу.

– Ромаша... Где мы? – Всеволод еще раз бегло огляделся, но никого больше из людей не увидел. – Как мы здесь... как мы сюда попали?

– Где? – Роман тоже огляделся и медленно, осторожно сел. – А бес хромой его весть...

Они помолчали, разглядывая лес вокруг.

– Что мы делали вчера? – спросил Всеволод. – Поехали на лов, отбились от своих, заблудились?

– А кони где?

– Ушли.

– Ты глянь на себя. Если и заблудились, то сколько же мы так блуждаем?

Всеволод запустил грязные пальцы в густые волосы, взъерошил их, расправил, выбросил сосновую иголку. Потер лицо, опять глянул на брата.

– Смотри. Я помню: ты – Роман Глебович, князь плечеевский, мой старший брат. Я – Всеволод, оба мы сыновья Глеба Романовича. Ты это помнишь?

– Помню. И бабушку нашу, Феофанию Ростиславну, помню. А дальше?

– Дальше... все.

Сколько ни вглядывался каждый в свою недавнюю память, там зияла туманная пустота. Но напомним о себе голод, и Роман, опираясь на плечо брата, стал на ноги.

– Хватит рассиживаться. Выйдем к людям, узнаем что.

Морщась, он сделал пару шагов: передвигаться было больно и как-то неудобно.

– Елкин пень... – Всеволод тоже встал, отталкиваясь руками от земли. – Я как будто ходить разучился... Все на четвереньки тянет встать.

Но прежде чем пускаться в путь, надо было сделать некое важное дело. Занятый им, Всеволод вдруг услышал за спиной изумленный крик. Обернулся, быстро оправляя порты и опасаясь, не увидел ли брат медведя. Или чье-нибудь тело... Но тот изумленными глазами смотрел на себя.

– Это что? Я чую, болит...

Подойдя ближе, Всеволод присвистнул: на бедре у Романа обнаружился толстый багровый рубец совсем недавно закрывшейся рубленой раны. Осознав, отчего у него все болит, Роман сунул руку под ворот рубахи и нашел похожий рубец на плече.

– Ты что, брат... Как из боя, – оторопело пробормотал Всеволод.

– А у тебя?

Однако, расстегнув собственный кафтан и задрав рубаху, на своем теле Всеволод никаких боевых отметин не нашел. Зато обнаружилась другая странность. Оба они были одеты в белые, чистые рубахи из плотного нового полотна. Под этими рубахами же обнаружились кафтаны и еще по одной рубахе, только очень грязной. Кроме верхних рубах, вся одежда и обувь оказалась грязной, потасканной, будто в ней многие дни сидели и лежали прямо на земле.

Братья в изумлении уставились друг на друга. Почему они надели по две рубахи, но одну – поверх кафтана, кто же так ходит? И каким образом верхняя осталась новой и чистой, когда по нижней вальки стиральные давно плачут?

Кафтан снизу, рубаха сверху – это приводило на ум перевернутость темного света и внушало жуть. Да на каком они свете?

– Пойдем куда-нибудь! – взмолился Всеволод. – Хоть узнаем, куда нас бог занес, в какое царство-государство!

В какой стороне скорее можно найти людей, ни один из братьев не знал. Выломали крепкий сосновый сук для посоха Роману и побрели наугад. По пути стали сравнивать, кто что помнит. Воспоминания их совпадали: оба знали, что приходится сыновьями Глебу Романовичу, князю плечеевскому, но и его, и свою мать едва помнят, осиротели еще детьми. Зато хорошо помнят бабушку по отцу, Феофанию Ростиславну, которая их вырастила, научила уму-разуму и заменила мать. Она сейчас должна быть в Плечееве. Если получится туда попасть, бабка уж наверно расскажет им все то, что они забыли.

– Если только мы с тобой не сто лет в лесу проспали, – заметил Всеволод. – Может, нас в Плечееве не помнит никто.

– Как это мы могли сто лет проспать?

– Ну если... чары какие на нас навели.

– Кто же навел? За что?

– Ну, есть же враги какие... Князья рязанские...

– Князья рязанские... Постой! – Роман остановился на тропе и взялся за голову. – Что-то такое было... смутно помню... с рязанскими князьями... Уж не война ли?

Война объяснила бы, откуда у него свежие шрамы. Но где ж тогда все войско, снаряжение? Одеты братья как на лов – в простые кафтаны, никакого оружия при себе. Да и вокруг никаких следов войны, сражений и пожарищ, тихо все, мирно, на полянах сеном сохнущим пахнет...

Шли медленно, Роман одной рукой опирался на посох, с другой стороны его поддерживал Всеволод. Раз-другой присели отдохнуть. Набредли на ручей, пересекавший дорогу, напились и умылись, отчего почувствовали себя бодрее. Отдохнули на больших камнях у воды и тронулись дальше. Версты через две появились на полянах сметанные стога, на лугу – пасущиеся козы, две-три коровы отдыхали в тенике березовой рощи, а потом показалось на гребне речного берега село.

Село было непростое: с краю стоял боярский двор. На ближнем лугу бродило немалое коровье стадо, появилась разная челядь, глазевшая на двух оборванных и грязных путников. На лицах отражалось изумление: вроде бы двое нищих, но какие-то они не такие...

– Люди добрые! – окликнул их Всеволод. – Бог помочь! Что за село? Кто хозяин?

– Б-боярин наш – Окинтй Селеверич, – сказал мужик, на вид посмелее прочих. – А вы кто, страннички? Куда путь держите?

– К боярину вашему и держим. Дома он?

– Он-то дома. – Другой мужик, постарше и деловитым выражением похожий на тиуна¹¹, окинул их неприязненным взглядом, засунув руки за пояс, и принял привычный повелительный вид. – Сядьте-ка тут в теньке, я спрошу у баб, что поесть от завтрака осталось.

– Нет уж, добрый человек! – решительно ответил Роман. – Скажи боярину, чтобы сам к нам вышел.

– Ишь чего! Ты в своем уме ли, странничек?

– Ступай за боярином! – повторил Роман, и старик, более не споря, похромал во двор: в этом голосе звучала привычка повелевать, до которой его собственной было далеко.

Боярин Окинтй, получив весть, что его требуют два каких-то нищеврода, по виду молодых и чудных, сначала озадачился, потом переменялся в лице и поспешил на двор. Едва увидев гостей, всплеснул руками:

– Господи Иисусе! Княже! Ты! Роман Глебович, голубчик ты наш! – Боярин братьям годился в отцы. – И Всеволод Глебович с тобою! Слава Богу! Слава Пресвятой Богородице и Николаю Милостивому! Нашлись! Живые! А мы уж не знали, какому святому свечки ставить! Вот госпожа княгиня-то обрадуется, Феофания Ростиславна! Вот станет богу молиться на четыре стороны!

– Что... Когда ты нас... – Боясь, что потревожит раны, Всеволод отстранил боярина от брата, которого тот явно жаждал обнять, и не знал, как толком спросить. – Что, искали нас?

– Ну а как же, князюшка! Как же не искать! Как поехал ты князюшку встречать, а сам с ним вместе сгинул, с того самого часа ищут! Два дня искали, три искали! Весь Тайминский лес с псами обшарили, во всякое дупло заглянули!

– Тайминский лес? – Братья переглянулись. – Это ведь на запад...

– Верно, у самой уже Вронской земли! Брат тебя встречать поехал, как ты от князя вронского, Святослава Давидовича, из полона воротился, и только сошел с коня – разом вы оба и сгинули!

– Из полона? – почти перебил его Роман.

– Так война же была, и была божья воля попасть тебе в полон. На Бориса и Глеба Сеятелей¹² ушли вы, на Ирину-Рассадницу, рассказывают, битва случилась при Ждиборе-граде, и с тех пор ты во Вронске был. На Зосима княгиня в Плечееве весть получила, и поехал господин Всеволод тебя встречать – и с тех пор ни слуху, ни духу от вас не было!

Роман изумленно взглянул на Всеволода и встретил такой же изумленный взгляд. Война. Полон. Вот откуда его раны!

– Ну, идемте же, идемте в палаты! – заторопил боярин. – Сейчас устроим вас, баню, за стол... Пятошка! Боярыню зови! Нунюша! Нунехия Кинфеевна! Какие гости у нас! Бегом сюда! Все сюда! Вот нам господь пожаловал!

Со всем почтением Окинтй проводил братьев в палаты, созвал семью и челядь. Истопили баню, отвели туда гостей, и там обнаружилось, что у Романа даже не две раны, а три, не считая мелких ссадин, от которых остались лишь белые отметины на коже. Боярыня Нунехия тем временем собрала на стол все лучшее, что было в доме. И она, и муж не уставали пригова-

¹¹ Тиун – управляющий крупным хозяйством, княжеским или боярским.

¹² Борис и Глеб Сеятели – 15 мая. Ирина Рассадница – 18 мая. Зосима – 2 июля.

ривать, какая радость ждет княгиню Феофанию и весь народ, все землю Плечеевскую. Хозяевам явно хотелось узнать, где был князь с братом в те три недели, пока их безуспешно искали, обшаривая каждое дупло в лесу, каждый стог на лугах и каждую борозду в поле, но об этом Роман и Всеволод сами знали не больше, поэтому молчали.

Село, как выяснилось, называлось Угодово и лежало в двух днях пешего пути от Плечеева. Раньше братья о нем слышали, и с боярином Окинтием виделись, но мельком. На вечерней заре боярыня Нунехия отвела их в горницу, уложила на мягкие постельники и чистые настилальники, перекрестила, ушла, велев звать, если что понадобится. Оба улеглись, довольные, что отдохнут, что уже кое-что узнали. Оставалось загадкой, куда они исчезли и где были три недели. Боярин Окинтій обещал завтра дать им хороших коней и лично сопроводить в Плечеев, где их уже оплакали и чуть ли не панихиды отслужили. Братья радовались, что завтра окажутся дома. Но Феофания и прочий люд в Плечееве спросят, где они были. И что отвечать?

– Давай спать, брат, – сказал Роман со своей лавки. – Утро вечера мудренее, может, завтра что-нибудь прояснится.

Заснули, как провалились. Но едва миновала полночь – Роман, а потом и Всеволод стал стонать и метаться. Услышав через дверь, горничная девка побежала за боярыней, та разбудила боярина, Окинтій сам вошел к гостям и, поколебавшись, разбудил Всеволода.

Вскрикнув, тот отшатнулся и не сразу опомнился. Потом стал хлопать себя по плечам, по груди, по ногам, ощупывать лицо. Засмеялся хрипло, сам разбудил Романа.

– Тише, тише, Романа, все хорошо, – шептал он, придерживая брата за здоровое плечо, чтобы не задеть рубец. – Мы – люди. Крещеные. У людей живем, не в лесу...

– Ты... тоже... – хрипло прошептал Роман, когда Окинтій их покинул.

– Что – тоже?

– Снилось мне... муть такая... будто я и не человек вовсе. А...

– Волк лесной.

– Вот. Прости Господи! – Роман перекрестился. – Будто бегаю по лесу, брюхо от голода подводит, и тоска такая, что от этой тоски скорее умрешь, чем от голода.

– Да.

– Но это же только сон?

– Само собой. Это сон, Романа.

Всеволод вернулся на свою лавку, лег и укрылся.

– Это, видать, месяца свет на нас попал, вот и мерещится. Спи, брат. Не бойся.

– Ты какую-нибудь молитву помнишь? Я вспоминал, да все какая-то хмарь лезет...

– Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот твоих очисти беззаконие мое...¹³ – забормотал Всеволод, отличавшийся хорошей памятью, и под это привычное бормотание оба снова заснули.

Наутро Окинтій, как и обещал, приготовил лошадей, и после завтрака оба брата с боярином и его челядью тронулись в путь. Они так ничего и не вспомнили; похоже было, что они не расскажут бабке и боярам ничего нового, наоборот, надеялись у них узнать побольше о последних событиях.

После полудня стольный город Плечеев показался перед ними, на высоком холме над Окой. На высшей точке мыса сиял золотой крест на маковке собора Бориса и Глеба, и Роман сморгнул слезу, видя издали эту звезду, – привет родного дома и благословение божие. Так жарко сиял, будто проткнул небеса и это стекает по нему вниз свет царства божия. Казалось, сто лет назад он покинул дом. Неужели Феофания, старуха старая, пережила эти сто лет?

Навстречу им летел колокольный звон: звонили у Бориса и Глеба в детинце, звонили у Ильи и Параскевы Пятницы в Нижнем городе, и у Власия на Скотьем торгу.

¹³ Псалом 50.

– Ты посылал предупредить о нас? – Роман обернулся к Окинтию.

– Нет, батюшка. – Тот сам выглядел озадаченным. – Как-то на ум не вошло, а уж потом было подумал...

– Откуда ж они знают, что всем городом вышли встречать?

У околицы посада толпился народ, плечеевцы радостно кричали и махали шапками, видя своих князей возвращенными, невредимыми. У ворот Нижнего города стояли люди почище: купцы и бояре, а самые знатные поджидали на Соборной площади в детинце. Бабка, Феофания, стояла в воротах княжьего двора; впервые за много лет внуки увидели слезы на глазах у этой крепкой, могучей духом старухи, что уже сорок лет была в земле Плечеевской главной госпожой.

Под колокольный звон и крики толпы князя с братом провели в знакомую престольную палату, усадили на их обычные почетные места за столом. Бабке и своему старому кормильцу, боярину Иерофею, они сознались, что ничего не помнят о своем долгом отсутствии. Теперь дело отчасти прояснилось. Еще зимой владимирский князь Ярослав прислал просьбу поддержать его в летнем походе на рязанских и вронских князей. Князь Ярослав был двоюродным племянником Феофании, и Роман не мог отказать в помощи ее родне. Младший брат не менее старшего рвался в бой, но ему Феофания велела оставаться дома: мол, она в старости нуждается в поддержке. Дело было, конечно, не в ее старческой слабости, а в том, что она не могла послать в бой сразу двоих внуков, единственных наследников плечеевского стола.

Но бог не дал владимирским полкам удачи. Прикрывая отход к бродам, Роман был ранен, чуть не погиб, придавленный собственным убитым конем, и очнулся в плену, едва в силах открыть глаза. Там провел почти два месяца, пока раны не зажили и пока между ним и князем Святославом вронским не состоялось некое соглашение.

– Не лежала у меня душа к этому обручению! – говорила Феофания. – Не будет нам ничего доброго от этого рода, и от вронских, и от рязанских! Видать, и княгиня Святославова ведьма, и дочка ее ведьма! Бесов неких напустили на тебя, да так, что и брата с собой прихватили!

– Какая дочка? – не понял Роман. – Чья?

– Да Святослава вронского! – пояснил боярин Иерофей, а у Феофании омрачилось лицо. – Мы и впрямь в сомнении были. Принесет ли добро тебе такая женитьба, да уж лучше под венец, чем в твои годы в монастырь! А вот вышло, что госпожа-то наша права оказалась! Едва не сгубили тебя бесы с этой невестой, да и с братом заодно.

Роман застыл, глядя в стену. На острых скулах загорелись два красных пятна.

– Неве... – Всеволод взглянул на него в изумлении. – Бра...

– О господи! – Роман прижал ладони к лицу. – Вот теперь я вспомнил.

– Что вспомнил? – Всеволод схватил его за локоть. – Что ты вспомнил? Ну, говори!

– У меня же там, во Вронске, невеста осталась обученная.

– Невеста?

– Апраксинья... Святославна.

Часть вторая. Из погребов глубоких

*За два месяца до того
На Ирину Рассадницу*

Глава 1

Поначалу сражение при Ждиборе складывалось для владими́ро-суздальского войска удачно: сумели продавить середину рязанского строя, потеснить левое крыло. Роман плечеевский, сидя в седле, наблюдал с холма, укрытый тенью рощицы. Слева осталась река; владими́ро-суздальское войско расположило за ней свой стан, а потом перешло брод, чтобы дать сражение рязанскому князю Глебу с его родичами и союзниками. Справа раскинулся большой густой лес, а впереди, на поле, две рати уже сошлись. Плечеевская дружина стояла за холмом, невидная врагу: она была назначена в засадный полк. Роман привел воев на помощь владими́рскому князю Ярославу, повинувшись воле своей бабки – Ярославовой тетки, но сам к рязанским и вронским князьям вражды не имел. Сорок лет назад их роды разделила кровавая свара, отягощенная подлым предательством, но все виновники ее давно были мертвы, а бог не велел искать мести, взяв ее на себя. В Плечееве войско собрали неохотно, не ожидая себе никакой выгоды от этого похода, кроме возможной добычи. Молодой Роман до добычи не был жаден, волновала его лишь мысль о славе, но он давил в себе честолюбие, предпочитая увести всех своих людей назад невредимыми.

Поначалу бог отвечал на молитвы Романа: князь Ярослав потеснил головной полк рязанцев, а Юрий неревский и вовсе смел левое крыло и ворвался во владими́рский стан, где, сколько удавалось разглядеть, шел разгром и грабеж. Роман уже было думал, что до победы два шага и ему вступать в бой не придется, когда издали донесло ветром слабый звук боевого рога. Еще не зная, что это значит, Роман привстал на стременах. Что это – рязанский князь приказывает своим отступить?

Но нет. Вслед за звуком рога из-за леса показался конный отряд и стремительно двинулся к владими́рской дружине. Кони набирали ход, стяг стелился на ветру, вот-вот опустятся копыта и вражья конница – не менее пятисот бойцов – слитным кулаком ударит в правое крыло владими́рцев. И непременно сомнет его.

– Святые святители! – охнул рядом Романов воевода, Рагуил Елизарьевич. – Да это ж рязанский засадный полк! Не мы одни силы приберегали...

– Беда князю Юрию! – охнул рядом Макарка, Романов отрок-бережатый. – Отрежут его сейчас, перебьют всех до одного.

– Смотри, смотри! – продолжал Рагуил. – Вон они куда нацелились: на Ярослава ударят, Юрия отрежут... Господи помилуй!

Князь Ярослав, как видно, понял, что ему грозит: от его стяга звук рога приказал отступить.

– Не успеет! – охнул Роман.

Он следил за мелькающим в гуще людей и коней стягом Ярослава – с холма хорошо было видно пламенную искру его княжеского шлема, с вызолоченной иконой святого Георгия на челе, его багряный плащ и золоченые чешуйки доспеха. Князя всегда должно быть видно на поле боя – своим на радость и воодушевление, врагам на страх и трепет. Ярослав старался собрать людей, но те еще были связаны боем и не могли быстро развернуться. Счет шел на вздохи, на удары сердца. От грохота копыт засадного полка содрогалась земля и небо – а может, это оглушал стук крови в ушах самого Романа.

Еще немного – и владими́рское войско будет отрезано от бродов, зажато и разбито наголову.

На решение остались считанные мгновения.

Роман протянул руку к отроку-оружничему:

– Немилка...

- Ты что задумал, княже? – охнул Рагуил, понимая, что Роман требует шелома. – Туда?
- Надо прикрыть, пока не смяли.
- Княже, но мы же... Это ж верная смерть!

Рагуил был прав: подставив свой отряд на пути рязанского, Роман даст Ярославу время собрать людей и отступить к бродам, но сам окажется связан боем, и ему отойти следом едва ли удастся.

Воздух был полон режущим, как железо, ощущением смертельной опасности; Роман вдыхал его всей грудью, веяние смерти проникло в кровь, и он чувствовал себя почти на том свете. Есть ли путь назад? Неважно. Все силы его души сосредоточились на мысли: он может спасти братьев и должен это сделать, пусть даже отдав свою жизнь. Не тому ли учил Спаситель? Дрогну он сейчас, останься на месте, поспеши к бродам, оставив гибнущих Ярослава и Юрия за спиной, – это будет прямое предательство, такого не отмолить и за всю жизнь.

А смерть? Романа вдруг наполнило радостное воодушевление. Погибнет он – окажется рядом с Христом. А может, тот спасет его и на земле. Тот, кто следует за Христом, ничего не должен бояться.

– Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих¹⁴. – Надев шлем с золоченой иконой святых Бориса и Глеба над челом, Роман бросил на Рагуила взгляд, поразивший того веселостью. Князь не отличался веселым нравом, но сейчас в островатых чертах его лица проступил свет, напомнивший о ликах с икон. – Ныне же будешь со мною в раю¹⁵.

Рагуил оторопел еще сильнее: князь заговорил словами Писания, будто уже пребывал не здесь.

– Труби! – Не отрывая глаз от поля, Роман сделал знак своему трубачу, потом обернулся и крикнул: – За мной, дружина моя!

И первым помчался вниз с холма, слыша, как нарастает позади него грохот копыт. Отступать было поздно, и всплыли в памяти слова обычной вечерней молитвы, которая сейчас приобрела окончательный и прощальный смысл: «В руце твои, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой: ты же мя благослови, Ты мя помилуй и живот вечный даруй ми. Аминь...»

Понемногу приходя в себя, Роман не сразу понял, жив он или мертвым и погребенным лежит под землей. Все тело и голова были налиты болезненной тяжестью, вокруг ощущается стылый холод и земляной дух, на опущенные веки давила темнота. Как есть в могиле... И – словно светлый луч в этом море тьмы – приятный юношеский голос негромко напевно читал:

– Превознесу тебя, Господи, что Ты поднял меня и не дал моим врагам восторжествовать надо мною.

Господи, Боже мой! Я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня.

Господи! Ты вывел из ада душу мою и оживил меня, чтобы я не сошел в могилу¹⁶...

Сошел в могилу... Сошел в могилу... Эти слова отдавались в тяжелой голове, как приговор, как окончательное решение и объяснение. Темнота, тяжесть и голос, взывающий к богу. Голос был юным, звонким, но мягким, не ранящим, а ласкающим слух и душу. Роман вслушивался, в этом голосе для него сосредоточилось все: и собственная смерть, и надежда на спасение. Голосу вторили мягкие звуки струн, такие тонкие, легкий, светлые и греющие слух, будто незримые, бесплотные пальцы ангелов перебирали солнечные лучи. Даже вроде бы теплым

¹⁴ От Иоанна, глава 15, стих 13.

¹⁵ От Луки, глава 23, стих 43.

¹⁶ Псалом 29.

духом ладана повеяло, и показалось, что он в храме, среди цветной росписи, и святые взирают на него со всех сторон, а сам господь – сверху, из-под высокого купола.

Исцелил меня? Оживил меня? Он же умер. Поэтому и нет ничего – только темнота, бессилие и имя божье... Оживление – воскресение в царстве святых... Хотелось бы увидеть его, но темнота слишком давила на веки.

А юношеский голос зывал:

– Пойте Господу, святые его, славьте память святыни Его, ибо на мгновение гнев Его, на всю жизнь благоволение Его: вечером водворяется плач, а наутро радость...

На всю жизнь благоволение... на всю жизнь... А она есть – жизнь? Где она? Как далеко?

Голос умолк, и Роман застонал бы от горя этой потери, если бы имел на это силы.

– Князюшка, родной, ты очнулся? – уже с другим, обыденным выражением произнес тот же голос. – Можешь глаза открыть?

Роман сделал усилие – и глаза в самом деле открылись. Это первое живое движение несколько рассеяло убежденность в собственной кончине, но вместо радости принесло только растерянность.

Полутьма, в которой он пока ничего не мог разглядеть, кроме одного: это не царство божие и даже не привычный плечеевский храм Бориса и Глеба.

– Хочешь пить?

Сильная, но мягкая рука бережно обхватила его за плечи, помогла немного приподняться – левое плечо прострелило болью, – и поднесла к губам деревянный ковш с водой.

Выпив несколько глотков, Роман почувствовал себя почти живым – вернее даже, почувствовал, что не в могиле, не на том свете, а все еще на этом. Но не в лучшем его месте и не в лучшем виде – кругом было темно, сыровато и пахло затхлым. Болело все – плечо, бедро, бока, левая рука... И хуже всего – голова, от этой боли мутило, и он поспешно лег опять.

Роман с усилием сосредоточился на последних воспоминаниях – на последнем, что было перед этой могилой. Битва при Ждиборе: он сидит в седле, с вершины холма следя за золотым шлемом Ярослава владимирского. Помнил, как дал приказ и сам помчался вниз с холма, перерезая путь рязанскому засадному полку. Немного помнил схватку – эти воспоминания были разбиты на мелкие осколки. Помнил даже, как две стрелы вонзились ему в плечо и в бедро. Едва он ощутил эти удары и покачнулся в седле, как конь его взвился на дыбы и стал падать. Он рухнул вместе с конем в смертную бездну, с чувством, что никакая сила не сможет поднять его назад к свету – и все.

– Где я?

– Во Вронске мы, княже. На дворе у князя Святослава. Внизу... в порубе.

– А ты кто? – Моргая, Роман взгляделся в незнакомое миловидное лицо. – Почему со мной тут?

– Я, княже, Богдалец, слуга твой.

– Откуда ж ты взялся... Богдалец? Не помню тебя.

Совсем память отшибло. Отрок держался так, будто прислуживает ему с детства, – ловко, почтительно и уверенно, – но для князя Романа его лицо и имя были совершенной новостью.

– Я недавно при тебе, княже. Пока войско на Ждиборь шло, я по пути пристал. В битве возле тебя оказался, ты с конем чуть не на меня упал, я и подхватил. Стал тебя перевязывать, как умею, тут и вронские отроки наскочили на нас. Хотели копьями колоть, я им кричу: не троньте, здесь сам Роман плечеевский! Они и взяли нас обоих, к своему князю, Святославу, доставили. Ты без памяти был, потому и не помнишь. Голову сильно ушиб, как с конем падал. Так обоих и привезли, в поруб спустили.

– Давно мы здесь?

– Второй день.

– Прочая моя дружина... где? – С трудом Роман заставил себя задать этот вопрос, но и уклониться от него не мог.

– Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих, – напевно произнес отрок. – Так сказал господь: ныне же будешь со мною в раю...

Роман тяжело сглотнул и не ответил. Эти самые слова он произнес, перед тем как пуститься в битву. Напророчил. Его дружина в раю – те, кто последовали за ним. Он шел за богом – а они, от воеводы Рагуила до отрока Немилки, шли за ним, своим князем. Двести человек. И вот он жив, а они... они в раю. Роман закрыл глаза, желая снова погрузиться во тьму беспамятства. Его залихорадило, и только одна мысль несла утешение: может, его переход за верной дружиной лишь отложен и скоро он будет со всеми.

Глава 2

О том, что отец, вронский князь Святослав Давидович, привез с войны знатного пленника, Апракса знала с самого начала. Родители говорили о нем в самый вечер возвращения войска, еще пока весь широкий княжий двор Вронска был полон шума, движения людей и лошадей, мелькания факелов. Мол, довез ли живым или нет, будет ли жить, да куда его поместить, князь все-таки, Рюрикович, не пес бродячий. В то время Апракса о нем не думала, посчитала частью отцовской военной добычи, отчасти опасной, и выбросила из головы. О худом думать не хотелось: все в семье бога благодарили, что отец вернулся жив и невредим. Святослав, человек еще не старый, крепкий и решительный, сам ходил в битвы, а ведь бывали случаи, когда и князья гибли на поле в борьбе за уделы, свои и чужие. В этот раз правда была на стороне рязанских князей и их вронского союзника: владими́ро-суздальцы, расширяя свои владения на юг и восток, пытались захватывать рязанские волости, сажать там своих сборщиков дани. В начале лета случилось крупное столкновение, но бог дал победу рязанцам, а одного из князей-супротивников Святослав даже взял в полон. Его привезли уже в темноте и перенесли в поруб, чтобы держать под стражей. Пленник был в таком состоянии, что убежать никак не мог, но Святослав, заполучив такого орла, хотел быть твердо уверенным, что тот из рук не выскользнет. Апракса и сестры были в это время наверху, в тереме. Им очень хотелось поглядеть на вернувшуюся дружину, но мать запретила путаться под ногами и слушать разговоры несдержанных на язык гридей.

Повод вспомнить о пленнике выпал дня через два. После обедни Святослав сидел в горнице у жены, здесь же были все четыре дочери. Отрок доложил, что пришел отец Ивлой – осмотреть раненого полоняника.

– Скажи, чтобы провели, а после пусть к нам поднимется, – велела княгиня Варвара.

– Батюшка, а кто этот твой полоняник? – спросила Мария, старшая из четырех сестер. Юные девушки с трудом разбирались в родственных связях бесчисленных Рюриковичей, носивших одни и те же родовые имена. – Суздальский князь?

Старшая княжеская дочь славилась красотой: небольшого роста, стройная, с тонкими мягкими чертами продолговатого лица, с пушистыми темными бровями и карими глазами, она была первой любимицей всего Вронска. Зная об этом, держалась горделиво и на людей взирала свысока, как та царевна, что сидела в высоком тереме и ждала удалца, способного допрыгнуть до окошка. Все женщины терема ее обожали и осыпали разными ласковыми прозвищами: Марьяша – всех краше, Марюша – сама хороша, и прочее в этом роде.

– Нет, это князь плечеевский, Роман Глебович. Суздальским они не родня, они нам больше родня, хоть и дальняя, – стал рассказывать Святослав. – От Святослава Ярославича черниговского и они, и мы род ведем. Суздальские их под свою руку тянут, старый свой корень совсем они позабыли. А жаль, Роман-то и смел, и удал. Там, под Ждибором, Ярослав владимирский его в засадном полку оставил. Поначалу-то им удача шла: прогнули наше чело, левое крыло продавили, до обоза добрались. И был там Юрий неревский, они с Романом двоюродные братья. А тут Глеб и велел наш засадный полк звать. Вылетели Игорь с Давидом из-за бора, ударили на владимирцев, смяли Юрьевы полки. Тогда уж Ярослав видит – худо дело, приказал за броды уходить, в свой стан. А Юрия Игорь с Давидом от бродов хотели отрезать: смяли бы первыми делом его, потом ударили бы на самого Ярослава и все войско их в реке перетопили бы. А тут Роман возьми и выйди нашим наперерез. Пока Ярослав за броды отходил, Романа наши окружили, стали кольцо сжимать. Ох там и рубка была! – Святослав покачал головой. – Как снопы валились друг на друга. Роман среди своих бился, потом пропал. Из людей его едва четверть осталась. Закричал кто-то, что-де Роман убит, ну тут и наши давай кричать: Роман

убит! Я и сам было думать, что убит, а как стали искать – он лежит живой, отрок свой его перевязывает, говорит, из-под коня вытащил, а как сумел в одиночку того коня сдвинуть, и сам не знает. Так их и повезли вдвоем. Роман весь израненный, в себя пришел на завтра, только стонет, а головы поднять не может. И то – чудом выжил, я думал, тело мертвое довезу.

– Выходит, он за брата пострадал? – спросила Варя, третья дочь. – Мог бы уйти за эти броды, был бы невредим.

– «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих», – вспомнила Апракса, больше других сестер проводившая за чтением с отцом Ивлоем.

Отец Ивлый с детства обучал княжеских дочерей Евангелию – они даже сами умели читать, – но, кажется, впервые в жизни Апракса увидела, как человек на деле последовал велению Христа, готовый отдать жизнь за царство небесное.

И когда эта мысль дошла до ее сознания, Апракса застыла. В душе что-то дрогнуло и зазвенело: совсем рядом, под теремом, где они сидят, в подклете лежит... не Христос, но человек, не убоявшийся верной смерти ради уподобления Ему. О таких людях из Минеи¹⁷ читают. Сам господь жизнь отдал за праведных и грешных, и кто собой жертвует ради людей, тот богу уподобляется...

– И где он? – нетерпеливо воскликнула Лаля, самая младшая. – В погребах глубоких? И он теперь будет там сидеть всегда? Тридцать лет и три года, как Илья Муромец?

– Не покорится мне – будет сидеть тридцать лет, – сурово ответил Святослав. – Пусть-ка бабка его приезжает, кланяется.

– Кто у них там дома-то остался, в Плечееве? – спросила боярыня Евланья, крестная Марии и Апраксы. – Не одна же бабка.

– Да почитай что и одна. Вроде есть у Романа младший брат, да тот совсем отрок, в походы не ходит. Выкуп взять – на волю отпустить, а он на другое лето опять на меня полки соберет.

– Возьми с него клятву крестную, чтобы не собирал, – посоветовала княгиня Варвара.

– Это дело ненадежное. Может, сам не станет против меня воевать, а брата пошлет. Да и клятва тоже... будто не бывало, что нарушали их?

Святослав подавил вздох: он и сам не знал, что делать с пленником. Он был не настолько жесток, чтобы желать тому смерти и тем более ей способствовать, но отпустить его означало приготовить себе новые беды. Даже жалел в глубине души, что Роман плечеевский не пал в сражении, – не было бы заботы.

– А все же жалко его, – помолчав, вздохнула боярыня Евланья. – Молодой ведь, вроде даже неженатый. Вот бабке-то его, Феофании, горе будет, говорят, он ей первый свет в окошке. Она их с братом вместо матери воспитала, женить вот только не успела.

Дочери, занятые шитьем в своем углу материной горницы, искоса переглянулись и с любопытством воззрились на родителей.

– Ишь, уже уши навестили! – Святослав усмехнулся. – Нет, деточки, тут вам жениха не ждать. Бабка его и раньше бы лучше умерла, чем с нами породнилась, а теперь и вовсе.

– Почему же, батюшка? – спросила Апракса.

– Плечеевского избоища она рязанским князьям, Владимировичам, вовек не простит.

– А что за избоище? – спросила Мария.

Святослав оглядел четыре обращенных к нему лица дочерей, румяных и миловидных, как полевые цветы. Дочерей князь Святослав любил, с тайной тревогой думал, что уже совсем скоро придется раздать их замуж, а будут ли мужья любить их, как должно? Как он любил Варвару, с юности наученный, что муж всегда должен быть на стороне жены, раз уж бог ему ее

¹⁷ Минея (Минеи-четы) – книга, содержащая жития святых в порядке дней празднования их памяти.

вручил. И простым-то людям не всегда по силам исполнять этот завет, а у князей на обычные домашние неурядицы накладывается порой старая родовая вражда.

Вот они сидят в ряд, как жемчужины в ларце: Мария, Апраксинья, Варвара-меньшая, и самая младшая, Евлалия, двенадцати лет, с минувшей весны она тоже носит девичий венец. Два сына умерли совсем маленькими, не подстриженными в первый раз, на конь не посажеными¹⁸, а теперь уж едва ли бог пошлет Варваре еще детей. Зато дочери, все четыре, – загляденье. Красавица Мария, с ее темными бровями, яркими губами маленького рта и царственным видом, по всеобщему убеждению, уродилась в Феофанию Музалон, княгиню греческую и тматороканскую, чья кровь в ней текла. Варя-младшая была точным слепком с матери, причем с самого рождения, потому ее и окрестили тем же именем. Евлалия, младшая, красотой уступала всем сестрам, но ее это не заботило, и она, веселая и задорная, была любима не менее Марии. Апракса, с ее чуть желтоватой смуглостью лица, светло-русой косой, тонкими бровями и светло-серыми льдистыми глазами, была не похожа ни на кого в семье, но отличалась спокойным и твердым нравом, на ее благоразумие всегда можно было положиться. Ее высокий овальный лоб казался дорогим ларцом, в котором прячутся сокровища мысли, упорный дух искрится в глазах-самоцветах. Иной раз Святослав думал, что вторая дочь, пожалуй, скорее в Троицкий девичий монастырь запросится, чем замуж. Так что же – он не стал бы ее удерживать, и через несколько лет она, с ее умом и знатностью, стала бы матерью-игуменьей.

Об иных событиях вспоминать никто не любит. При детях о них не говорят. Но сейчас, помня, что в порубе лежит на соломе, между жизнью и смертью, один из пострадавшего рода, Святослав понял: нельзя дочерей держать в неведении всегда. Когда-нибудь они все равно на это горе наткнутся, как на косу, зарытую в сено, и как бы не покалечились по неведению.

– Лет сорок тому, – начал Святослав, не скрывая неохоты, – призвали князя рязанские, Глеб и Константин Владимировичи, князей суздальских и владимирских в Плечеев, на совет о мире. В ратном поле не дал бог рязанцам счастья, вот их бес и надоумил: хотим, дескать, помириться с вами, мы ж все Рюриковичи одних дедов внуки, все от Владимира Крестителя род ведем. Обещали от волостей суздальских отступить, лишь бы им дали мир. Сидели в полевом стане, в шатрах, ниже Плечеева по Оке. Плечеевым владел тогда Роман Глебович, женатый на Феофании Ростиславне. На пиру, как все напились, ворвались отроки рязанские и суздальских князей с ближними дружинами перебили. Погиб там Ростислав владимирский и с ним сын его Всеволод, отрок. На месте смерти их Феофания поставила сперва церковь Святого Георгия – ее брат Всеволод по-крещеному был Георгий. А потом монастырь, и в нем первой игуменьей стала ее мать, княгиня Ростиславова Анна. Так этот монастырь и зовется: Георгиевский на Избоище. А Феофания весь род рязанский ненавидит, оттого и мужа, и сына, и внуков посылает против нас воевать. Она была мужа моложе, говорят, лет на пятнадцать, а с самой свадьбы так его в руки забрала, он у нее пикнуть не смел. Все по ее воле делал. Через ту вражду и погиб: в походе простудился и сгорел, даже до места не дойдя. И сын ее единственный, Глеб Романович, недолго пожил. Она осталась с двумя внуками на руках, Романом и Всеволодом. Сама их воспитала, они ее как мать почитают и из ее воли не выходят. Давно бы уж я с ними помирился, да бабка скорее кости сложит, чем позволит. Вот ведь упрямая клюшка! – в сердцах бросил Святослав. – Мужа сгубила, сына потеряла, вот могла бы и внука старшего лишиться. Попади та стрела не в коня, а самому Роману в бок, или задави его конь насмерть, сейчас бы тело мертвое к ней в Плечеев отослали.

– Она бы и второго внука мстить снарядила, – неодобрительно добавила княгиня Варвара. – Она кремь-баба: что не по ней, нипочем не смирится.

– Видно, так. И раз уж нет им от бога благословения, и последнего бы лишилась, осталась бы одна на пепелище, как ворона. Ох и упрямая же! – повторил Святослав.

¹⁸ То есть моложе трех лет.

– Нету ей, видать, счастья, – сказала боярыня Евланья. – И родом знатна, и умна, и собой, говорят, была недурна. Мой отец еще в молодых годах видел ее. А ни себе, ни людям счастья не дает. Гордыни в ней много. Ей бы, по стариковскому делу, давно в монастырь идти, бога молить о грехах своих, а она вишь, все воевать тянется. Внуков изведет, сама на конь сядет и в поле поскачет!

Четыре девушки невольно фыркнули от смеха, вообразив это несуразное зрелище: старая старуха под шоломом и в седле, с саблей в руке скачущая по чисту полю.

– Экая поляница! – прошептала Апраксе сестра Лаля.

Даже Лаля, младшая, была смущена и подавлена известием, что ее деды так подло обошлись с суздальскими князьями и их союзниками. Тень того позора они ощущали на себе, как брызги грязи, как дурной запах.

– Что же Феофания внуков-то не женит? – спросила княгиня Варвара. – Про младшего не знаю, а этот, что у нас, ведь не отрок, да, Давидович?

– Какой отрок, борода у него. Видать, от упрямства и злобы своей и не женит. Придет молодая княгиня, а старуху вон.

– Туда б ей и дорога! Вот бы бог послал Роману жену добрую. Он сидит, уж с бородой, а все старуху упрямую слушает, как дитя. А ей и думать уже не о чем, кроме своих давних обид. Женился бы он на деве молодой, чтобы умягчила его сердце, отвратила от вражды.

– Да уж его наглая смертушка чуть в мужья не взяла, – мрачно закончил Святослав. – Сидит теперь в порубе, как зверь лесной. Выпущу его – опять будет моей крови искать.

Дочери слушали его с вытаращенными глазами: мерещился волчий оскал в темноте подземелья, навевая жуть. Княгиня Варвара вздохнула.

– Так и что же – это до скончания века тянуться будет? – в тишине спросила Апракса. – Суздальские князья рязанским мстят, теперь вот плечеевский князь у тебя в полоне, за него будут мстить. Неужели никак нельзя это остановить? Ведь может...

Она запнулась, не смея сказать то, что подумала. Братьев у нее нет, но если бы кто-то так подло и предательски убил ее отца, она бы тоже всю жизнь ненавидела убийц, завещала эту ненависть сыновьям и внукам.

Но как же, тут же испугалась она собственных мыслей. Ведь, отправляя мужа, сына, внука на войну ради мести, так легко потерять его и тем дать оставшимся новый повод для мести!

Да и кто же мстит? Только язычники, бесовы поклонники. Христиане прощают... Но Феофания плечеевская за сорок лет не простила рязанским князьям и их союзникам гибели отца и брата. А она, Апракса, разве простила бы?

Тут пришел отец Ивлой. Монах вронского Никольского монастыря, он прожил уже лет семьдесят, но, как говорила княгиня Варвара, он будто живой водой умывается: лицо с приятными правильными чертами оставалось почти гладким, только у глаз виднелось несколько тонких морщин. Боярыня Евланья как-то обмолвилась, что в молодые годы отец Ивлой был очень хорош собой: она видела его еще девочкой, когда он только вернулся с Афона, где прожил лет десять. Сейчас он был совсем седым, и красили его не столько черты, сколько разлитое в этих чертах выражение какой-то голубиной чистоты, тишины и мира. Годы его выдавала только легкая дрожь рук. Пальцы правой когда-то очень давно были изувечены, как будто их зверь какой грыз, а уцелевшее неправильно срослось. С Афона отец Ивлой вернулся искусным врачевателем. Из-за руки он многого не мог делать сам, и ему помогал какой-нибудь из молодых братьев или послушников. Сегодня это был брат Иларион, богатырь с виду; Апракса из терема слышала снизу его громкий голос, из-за которого даже кроткий отец Ивлой порой звал его братом Иерихоном.

Апракса помнила отца Ивлоя, сколько саму себя. Если кто-то в семье хворал и с хворью не справлялась обычная женская мудрость, посылали в Никольский монастырь. Еще пока она была девочкой, отец Ивлой подолгу сидел с ней, рассказывая о разных чудесах. «Имя твое, по-

гречески – Эвпраксия, сие значит делающая добро, добродетельница, – говорил он, и Апраксе это очень нравилось. – Через доброделание всякий крещеный уподобляется богу. Мы, христиане, созданы во Иисусе Христе на добрые дела, кои бог предназначил нам исполнять. Кто делает доброе, тот и богу угодит, и приготовится к царствию небесному. Если душа совершает добрые дела, то Дух Святый обитает в ней. Тебя, дочка, само твое имя укрепляет, не отступайся от него, держись доброделания...»

Добродетельница! Слово было непривычное, значительное, за ним крылось нечто могучее, источающее свет. Апракса слушала и думала, иногда поглядывая на дрожащую изувеченную руку отца Ивлоя: должно быть, бесы хотели отгрызть ему руку, чтобы не дать делать добрые дела. Понимая, что он и ее тянет на дорогу этой борьбы, Апракса чувствовала и воодушевление, и страх. Доброделание – верный путь к спасению; но путь в царство святых не может быть легким. Протянешь руку с хлебом к голодному, а он и вцепится зубами тебе в пальцы... Поначалу она даже боялась подавать милостыню у собора, когда с матерью ходила на пение¹⁹. Ни разу никто не пытался ее укусить, но эти опасения с годами не ушли совсем. Бес не так прост, он хоть всю жизнь будет удобный случай сторожить...

Святослав встал навстречу старому инок, попросил благословить, потом и княгиня с дочерьми. Старца усадили, спросили, как там пленник.

– Ничего, бог милостив, оправится, – рассказывал инок. – Раны я ему перевязал, хоть он крови потерял много, но калекой не останется. Голова болит, поднять не может, но это от ушиба, череп вроде цел, не треснул. Трещины в ребрах, пусть лежит смирно, они и заживут. Руку ему свой отрок вправил, что сейчас за ним ходит. Полежит, оправится, и будет опять молодец молодцом. Счастье, что быстро его из-под коня вытащили. Пока падал, мог бы и шею свернуть.

Святослав слушал его с облегчением: умри Роман у него в порубе, потом скажут, удавил или голодом уморил. Им, внукам рязанских князей, всякое лыко в строку. Но и с некоторой противоречивой досадой: когда Роман оправится и снова станет молодцом, придется решать, что с ним делать.

На другой день Апракса, стоя на высоком крыльце, снова увидела входящего во двор отца Ивлоя и сразу вспомнила о пленнике. Издали поклонилась старому инок и, прячась за столбом, проследила, как тот прошел к двери в подклет. Она хорошо знала подклет: там хранились бочки с квашеной капустой и прочие такие припасы. В дальнем углу пряталась лестница еще ниже – в поруб, и к ней девушки не приближались. Иногда там сидел какой-нибудь разбойник, душегуб, и казалось, от самой дубовой, окованной железом крышки над лестницей веет злом. И сейчас там, в этом обиталище разбойников, лежит Роман плечеевский? Снова вспомнился Христос, казненный заодно с двумя разбойниками, и то, как Роман пострадал из-за готовности отдать жизнь за братьев... Апраксу потрясло это сходство, неведомый Роман не уходил из мыслей. Она не знала даже, как он выглядит, и видела кого-то похожего на архангелов с храмовой росписи: юноша с прекрасным лицом с суровым взглядом, с пышными рыжевато-золотистыми волосами, с копьём в руке...

Апракса и дальше мысленно следила за инок: вот отец Ивлой спускается по ступеням – выемкам, вырубленным в толстом бревне, – как оглядывается, пока глаза привыкнут к темноте. Апракса была бы рада оказаться сейчас вместе с ним и тоже посмотреть на пленника. Но ей оставалось стоять на крыльце и лишь гадать, как же Роман там устроен – не положили же раненого на каменный пол с гнилой соломой? Но хотя бы свечу ему дали, или он лежит в темноте, как покойник? Апракса содрогнулась, и отчего-то ей стало неловко. Пусть Роман и враг отца, но не по-христиански было бы оставить его, раненого, в темноте подземелья только за то, что он был храбр на поле битвы. «Положит душу свою за друзей своих...» Эти слова

¹⁹ Пением в Древней Руси называлась церковная служба.

часто всплывали в памяти Апраксы, и каждый раз она содрогалась, как будто Михаил Архангел со стен собора касался ее души огненным крылом.

Но каков же он, Роман? Темнота подклета скрывала плечеевского князя и от мысленного взора. Отец сказал, что он еще молод, но не отрок – с бородой. Наверное, он человек особенный, невольно думалось Апраксе, если в таких молодых годах он сумел стать грозным противником для более старших и опытных. Но сейчас он не витязь на коне. Насколько ему худо? Он в сознании или лежит без чувств? Никому сейчас нет до него дела, никто не хочет о нем позаботиться, и она сама не понимала, почему мысленно взяла этот чужой долг на себя. Но разве чужой? А как же заповедь милосердия и христианской любви? Можно дожидаться отца Ивлоя и спросить у него. Но сделать так Апракса не решилась: люди подумают, что она суется в чужие дела, а состоятельной девице это неприлично. Она ушла в терем, села шить, но еще долго прислушивалась, не подавая вида: не зайдет ли инок и сегодня рассказать про пленника? Но князь не посылал за отцом Ивлоем, и тот не зашел.

Глава 3

На другое утро Апраксе подумалось: не пойти ли на крыльцо постоять? Подождать, пока отец Ивлой выйдет, и спросить, как там пленник, – в этом же нет ничего неподобающего? Не по-христиански было бы оставаться равнодушной, когда вот здесь, под полом, в подклете, может быть, умирает...

– А вон отец Ивлой! – Мысли Апраксы прервал звонкий голосок Лали, смотревшей в оконце. – Он к тому плечеевскому пришел, да, матушка?

– Ох, да! – спохватилась княгиня Варвара. – Я и забыла про него. Как он там – жив?

– Надо попросить отца Ивлоя к нам, – подсказала Апракса.

Княгиня послала отрока, и через какое-то время старого инокa ввели в горницу. Апракса взглянула в его ясное лицо с такой жадностью, как будто это был сам пленный князь, как будто ждала увидеть в его чертах отражение того, с кем он только что говорил. Княгиня стала расспрашивать, Апракса слушала, опустив на колени шитье. Отец Ивлой заново промыл и перевязал раны князя Романа, и его беспокоило, что у пленника обнаружилась лихорадка.

– Как он устроен? – с беспокойством спросила Апракса. – Что у него за постель? Хорошо ли укрыт? Там, в подклете, холодно, поди?

– Соломы ему принесли много, овчиной укрыт, – ответил инок. – Само собой, под землей ему худо лежать, как бы его лихорадка и вовсе под землей не оставила.

– Матушка, может, мы можем его получше устроить? – взмолилась Апракса. – Дать ему постельник хороший – он же хоть и пленник, а князь! Нам дальняя родня! Если лихорадка – надо же ему хоть каких зелий послать, пусть Мамышиха сделает, а, матушка? Одеяло дать получше... и еды... Чем его кормят?

– От челяди носят, – ответила княгиня. – Хлеба, каши, чего там еще...

– Матушка, прикажи дать ему чего получше! От нашего стола – мы же не обеднеем, а ему на пользу пойдет. Больной же! Он же князь – негоже ему всякими поскребками от челяди питаться!

– Ох, Апракся, что это ты растревожилась? – Мария широко раскрыла свои большие блестящие глаза. – Отцу виднее, как его держать! А ты ему палаты царские хочешь в порубе устроить!

– Отец не хочет, чтобы он там сгинул. Правда же, матушка? Если он там богу душу отдаст, нас обвинят, скажут, нарочно уморили! Опозорят нас. Скажи отцу. Он не хочет ему смерти... Роману плечеевскому.

– Апракся у нас, как в старине²⁰ про Илью Муромца! – засмеялась Варя. – Помнишь, нам Мамышиха сказывала? Его князь Владимир Красно Солнышко заточил в погреба глубокие, велел не кормить, а его дочь Апракса-королевична велел дать ему и еды, и перин пуховых, и питья медового...

– Помню, и когда пришел Калин-царь, тут-то и был бы конец князю Владимиру, тут-то он и заплакал слезами горячими, что, мол, нету в живых Ильи Муромца, некому постоять за Киев-град! – подхватила Апракса. – А дочь ему и говорит: да ведь жив Илья Муромец в погребах глубоких! А если бы не она, худо бы всем пришлось!

– Мне та старина не понравилась! – надменно сказала Лаля. – Апракса-королевична Илью от смерти спасла, Киев-город от разорения, и что? Он на ней даже не женился!

Все в горнице засмеялись.

²⁰ Старина – былина.

– Зачем тогда она его спасала, а он и не подумал даже посвататься? – без смущения продолжала Лаля. – Уехал к себе в чисто поле, а об Апраксе ему и мысли нет!

– Не годился Илья ей в женихи! – снисходительно пояснила Мария. – Она – дочь князя великого киевского, а Илья кто? Его родители – оратаи простые, сами пашню пахали! Куда ему жениться на Владимировой дочери?

– Так и зачем она его спасала, раз он все равно не жених? Я думала, та Апракса сама о себе хотела позаботиться, коли отец не думал ее замуж отдавать.

– Но ведь без Ильи Калина-царя некому одолеть было бы! – напомнила княгиня Варвара.

– А откуда Апракса это знала? Она что – дар прозрения имела в себе? Сказала бы отцу: мол, не томи Илью в погребах, он с Калином-царем воевать пригодится. Она же не сказала ничего, сама тайком все сделала.

– Ой, Лалюшка, не все же, как ты, только о женихах и думают! – воскликнула Апракса. – И не потому, что Калин-царь. Она хотела... милосердие явить. – Апракса взглянула на отца Ивлю, ожидая поддержки. – Она же просто... из христианской любви. А уж бог ее за то наградил, что было кому постоять за них. Да, правда, отче?

– Правда, дочка! – Инок кивнул. – Господь сказал: «так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне»²¹. В каждом страждущем сам бог. Как ты к нему, так и бог к тебе. Кто был милостив, тот и господом помилован будет. Господь князю Роману страдание послал, скорбью телесной и душевной его наградил. Кто пожелает скорбь его облегчить, тот часть ее на себя возьмет, а с нею и часть избрания божия.

– Вот, – с несколько растерянным торжеством сказала Апракса: она поняла, что отец Ивлой ее поддержал, но не совсем поняла про избрание.

– Попроси отца, чтобы разрешил тебе о больном позаботиться, а тем и своей, и его душе пользу принести, – улыбнулся ей инок. – Ты – добродетельница, кому, как не тебе? И помолись о нем – уж это всякий о всяком всегда может сделать.

Слова инока убедили княгиню Варвару.

– Хорошо, скажи Федотовне, пусть на поварне найдет ему чего получше, а потом подает, что нам готовят. И Мамышихе вели, пусть она ему травок подберет, каких знает.

Апракса послала Лалю искать Мамышиху, их няньку, а сама вышла вместе со стариком, проводила его до ворот и побежала в поварню к Федотовне. Проследила, как ключница со служанками нашла хороший постельник, подушки, одеяла, посуду и отнесла все это в подклет. Стережущим пленника отрокам Федотовна сослалась на приказ княгини, но Апракса знала: это ее заслуга, а не матери и не ключницы. Ей вовсе не хотелось, чтобы Роман знал, кому обязан. Федотовна будет держать язык на привязи: было бы неприлично говорить о княжеской дочери с посторонним мужчиной. Пусть Роман с благодарностью помолится за Святослава с семейством – и довольно. Апраксе даже приятно было, что ее имя не упоминалось: тайность ее добродетели придавала ему особую ценность, оно стало как драгоценный перстень, хранимый в запертом ларчике. Тайна между нею и богом упала бы в цене, стань она известна всем.

Прав был отец Ивлой: попечение о других вознаграждается! Весь день Апракса была весела и счастлива, сама не зная почему. Как будто из ее обыденной жизни растворились ворота в какой-то широкий светлый край, и сама она стала не просто второй по старшинству дочкой Святослава вронского, а кем-то намного большим. Когда пошли к вечерне, она тайком помолилась особо за здоровье болящего Романа и поставила свечку за него Николаю Милостивому. И долго стояла перед изображением Михаила Архангела: больше человеческого роста, юноша в красном, расшитом золотом платье, в сапогах с жемчугом, в синем плаще, с копьём, в золоте длинных кудрей, взирал на нее сверху грозными очами, и у Апраксы было такое чувство, будто сам архангел поручает ей заботы о Романи плечеевском. Ушла из церкви с греющим душу,

²¹ Мф. 25: 40.

радостным чувством общего дела между нею, Николаем и Михаилом Архангелом, и ступала по плотной земле площади, как по белым облакам.

Наутро Апракса проснулась с таким радостным чувством, будто что-то очень хорошее случилось у нее самой. Вспомнила: Роман! Перевернулась, пряча лицо в подушку, чтобы сестры не увидели ее улыбки. Сама над собой посмеялась мысленно: радуюсь, будто жених появился! Будто приехали чужие бояре и объявили: сватает, мол, Роман плечеевский дочь твою, Святослав, Апраксинью... «Вот я дура-то!» – радостно укорила сама себя, тайком смеясь. Не до сватовства ему, он лежит в порубе, в темноте, в боли ранений, но теперь у него новый постельник, хорошая подушка, все у него теперь есть, как положено князю... А ей хорошо просто потому, что ему теперь легче. Иначе как она могла бы радоваться, зная, что совсем рядом страдает человек?

Поднявшись и переделав утренние дела, Апракса пошла в поварню и отозвала в сторону Федотовну. Расспросила ее, как устроен Роман, не нуждается ли еще в чем. Но не называла его по имени: обнаружила, что язык не поворачивается, как если бы она, произнесла его имя, выдала бы всю стаю своих неясных чувств и мыслей о нем – о том, чьего лица ни разу не видела. Федотовна заверила, что теперь пленник лежит, как у родной матери, и желать ему больше нечего, кроме господней милости.

– Передай княгине, Апраксинька, я ее приказ исполняю, как положено, ходить за ним буду, как за сыном родным! – заверила Федотовна, полагая, что это княгиня прислала дочь.

– Да, и еще матушка сказала, чтобы снесли ему корыто и воды гретой. До бани он еще не скоро доберется, так не грязным же лежать...

Через день, когда Апракса спускалась с крыльца, к ней вдруг подошел незнакомый отрок и почтительно поклонился. Апракса взглянула на него с удивлением: всю свою челядь она знала, а откуда здесь взялся чужому?

– Бог тебя наградит, Апраксинья Святославна! – вежливо сказал отрок, еще раз кланяясь. – От князя моего поклон и благодарность великая твоему отцу и матушке, за их доброту и заботу.

– От князя... тво... – было удивилась Апракса, но тут же сообразила, и сердце застучало от волнения. – Ты кто?

– Я – Богдалец, слуга князя Романа. При нем состою, хожу за ним. Он велел мне благодарность передать Святославу с княгиней, что позаботились о нем, зла не помня: и постель у него теперь хорошая, и еда.

– А... – Апракса не сразу придумала, как ответить, и оглянулась, не слушает ли их кто. – Я... да, передам. Передам, а ты... больше никому не говори об этом.

Богдалец взглянул на нее, брови его слегка дрогнули, в глазах мелькнуло было удивление, но тут же сменилось пониманием. Апракса тоже посмотрела на него пристальнее, пытаясь понять, можно ли на него положиться. Отец упоминал, что за князем Романом ходит какой-то отрок, вместе с ним привезенный.

– А ты, стало быть, вместе с ним... с Романом прибыл? Ты с ним и в битве был?

– Был, госпожа. – Отрок еще раз слегка поклонился. – Сам слышал, как он сказал: нет больше той любви... Воевода Рагуил ему: мол, куда ты, княже, это ж верная смерть! А князь ему: как сказал господь, кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни²². Что значит, кто себя не пожалеет ради братьев, тот будет господом помилован. И не оставил господь князя Романа. Смерть совсем рядом прошла, однако он из рук ее изъят был по божьей воле.

Апракса слушала, все сильнее удивляясь: отрок говорил легко и гладко, и знал Писание, словно инок!

²² Иоанн, глава 8, стих 12.

– Ты что... Писанию обучался?

– Слышал я слово божье.

– Какого же ты рода? Может, ты сын боярский?

– Нет, госпожа, нет у меня ни рода, ни отца с матерью, кроме господа самого.

Его ясный, дружелюбный и странно проницательный взгляд смущал Апраксу, и она отвернулась.

– Так ты смотри... коли что еще князю понадобится, ты скажи Федотовне, ключнице, она мне... матушке передаст.

– Я за тебя молиться стану, Святославна, – сказал он, когда Апракса собралась его отпустить. – Доброе дело ты сотворила. И князь мой...

– Ах, что ты! – Апракса отвернулась было. – Разве я... Моя матушка позаботилась.

– Дай бог здоровья княгине Варваре. И тебе.

Кивком попрощавшись, Апракса спешно взбежала по широким ступеням высокого крыльца. Богдалец, стоя у нижней ступеньки, молча проводил ее глазами, пока подол красного платья не мелькнул на повороте и не пропал.

– Передал?

– Передал, господин.

Роман лежал неподвижно, с закрытыми глазами, и не мог видеть своего слугу, однако Богдалец все же поклонился.

– Кого-то из них видел?

Говорить раненому было трудно, и он едва приоткрывал губы, чтобы выдать несколько отрывистых слов.

– Видел дочь Святославову, вторую, Апраксиныю. Мнится мне, господин, ей наша благодарность и назначается.

– Это почему?

Роман все же слегка повернул голову и взглянул на Богдальца, приоткрыв глаза.

– Это ее заботами ты так хорошо устроен. Родители, может, и не ведают.

– Как так?

– В девице сей сердце доброе, желание добро делать – горячее. Вот она и заботится о тебе.

Роман хотел покачать головой, осуждая девицу, что встречается в далекие от нее дела без ведома отца, но голова болела, и он не пошевелился. При всей своей слабости он не мог не думать о своей дальнейшей участи, и вести Богдальца его скорее разочаровали: он был предпочел, чтобы доброту и милосердие к нему явил тот, кто эту участь решает, – сам князь вронский Святослав Давидович.

Однажды князь явился – много дней прошло или мало, Роман не считал, да и следить за временем мог, только наблюдая, как темнеет и светлеет оконце, но так часто дремал, что и эти признаки путались в памяти. Он спал, и его разбудил скрип двери наверху. Удивился: ему казалось, отец Ивлой сегодня уже был, неужели целый день проспал и уже настало завтра? Но нет. Отец Ивлой входил тихонько, лестница почти не скрипела, и Роман каждый раз думал: вот ко мне ангел господень нисходит из света во тьму, бесплотный и невесомый. Теперь же наверху были шум и суeta: спустился один отрок с горящим факелом, потом второй. Третий отрок принес и поставил перед Романовым ложем скамеечку, и тут он понял: ожидается важное лицо. А кто тут из важных – кто-то из старших городских иереев, бояр именитых, или сам Святослав Давидович...

В порубе было только одно оконце на самом верху, выходившее наружу вровень с землей. Из-за этого в дождливые дни по стене стекали вода и грязь, а зимой его плотно забирали

ставнем и до самой весны оно оставалось под слоем снега. Отрок светил, подняв факел, пока Святослав осторожно спускался. Он нечасто сам бывал в этом скорбном месте – много чести, – и удивился, до чего здесь светло. Факелы оказались лишними, он и без того хорошо видел и Романа, лежащего на двух сдвинутых скамьях в дальнем от оконца углу, и отрока рядом: тот стоял с почтительным видом, однако казалось, что он прикрывает своего господина от чужих.

Святослав подошел, осмотрел лежащего. Отметил: едва ли за все время существования терема и поруба под ним хоть кто-то был здесь так удобно устроен – на постели не хуже, чем в избе, не на груде грязной соломы. Огляделся: пол почти чистый, обычной вони нет. Даже уловил вдруг дуновение ладана в воздухе, но решил, что этот дух задержался в его собственной одежде – был утром на пении.

– Ну, будь цел, Роман...

– Благо тебе будь. – Роман приподнял здоровую руку и заслонился от режущего света факелов. – Богдалец! Подними.

Лежать пластом перед своим недругом было неприятно. Богдалец помог князю приподняться и сесть, привалившись плечом к стене. Святослав сел на скамеечку, его отроки встали по сторонам с факелами. Один держался за меч – должность такая, хотя всем было ясно, что пленник сейчас не опаснее цыпленка.

– Как ты тут, Роман? Отец Ивлой говорил, поправляешься?

– С божьей помощью.

Святослав рассматривал пленника. В положении Романа трудно выглядеть хорошо: бледный, осунувшийся, на острых скулах красные пятна, взгляд отстраненный. Как никогда его лицо сейчас напоминало иконописных мучеников, и Святослав не мог отделаться от неприятного чувства, что выступает гонителем, будто царь Диоклетиан²³ какой.

– Пришел вот посмотреть на тебя, – буркнул Святослав, затрудняясь, как еще объяснить свое посещение.

Разумеется, ему нужно было самому проверить, как поправляется его знатный пленник, но поднять того наверх, в горницы, как сказал отец Ивлой, было нельзя: сам ходить не может, а нести его по лестницам трудновато. Сюда еле спустили.

– Вижу, позаботились о тебе...

– За заботу благодарю. Господь наградит...

Они помолчали. Между ними висел невысказанный вопрос: что будет дальше, но Роману гордость мешала его задать, а Святослав еще не пришел ни к какому решению, и эта неопределенность смущала его самого. Ему советовали послать к Ярославу владимирскому, обменять свободу его племянника на пару волостей и обещание впредь рязанские пределы копьём не тревожить, но, насколько он знал князя Ярослава, тому племянник не так уж нужен на свободе. Плечеевский стол освободится, ему же и хорошо.

– Даст бог, ты оправишься, – начал наконец Святослав. – Я тебе смерти не желаю. Вон и отрока твоего тебе оставил, и устроили тебя, и кормят с моего стола. Как будешь на ногах держаться, в баню сводим. Мы ж родня, хоть и дальняя, одного корня. Еще чего тебе надо – через отрока или через отца Ивлоя передай. Как поправишься... Держать тебя здесь весь век... не желаю, но и того, чтобы ты снова на меня полки собрал, не допущу. Подумай сам. Взять с тебя клятву крестную – этого мало. Слышал я, у тебя брат есть отрок... – При этих словах Роман тревожно взглянул на Святослава, его взгляд оживился, и тот продолжал: – Думаю, не взять ли мне его в таль²⁴.

²³ Диоклетиан – римский император III века, при нем христианство подвергалось гонениям и появилось много мучеников.

²⁴ Таль – заложник, в таль – в заложники.

– Н-нет! – вырвалось у Романа; он и думать не хотел – передать в Плечеев такое предложение. – Бабка наша, Феофания Ростиславна, не позволит... Да я и не хочу, чтобы мой брат... за немилость божью ко мне отвечал.

– Ну а тогда что ж мне с тобой делать? В монастырь, что ли, отпустить?

– Может, и так.

– Ну, думай. – Святослав поднялся. – Я тебе зла не желаю, но и себе тоже.

Взобравшись по лестнице наверх, Святослав удалился, ушли отроки с факелами, дверь закрылась, в поруб вернулась привычная полутьма. Роман снова лег, морщась, и закрыл глаза. Но и теперь перед взором стояли огни и озаренное ими хмурое лицо Святослава. «Что ж мне с тобой делать? – вспоминался сердитый голос. – В монастырь, что ли, отпустить?»

В монастырь... Раньше Роман не обнаруживал в себе влечения к иноческому житию, но сейчас эта мысль принесла долгожданное облегчение, даже отраду. С тех пор как он опять обрел способность думать о чем-то, кроме своих ран, он только и пытался понять, к чему теперь стремиться. Прав ли он был, что вывел свой засадный полк на помощь Ярославу и Юрию? Да, прав, ибо поступил по заповеди. Зачем только господь оставил его в живых, когда почти все его люди погибли? Он расспрашивал Богдальца, что тот знает о других: еще в плену содержится человек тридцать-сорок, большинство раненые, и кто из них жив сейчас – Богдалец не знал. Среди них воевода Рагуил и еще человек десять-пятнадцать из плечеевских боярских родов: их вронские отроки не убивали, брали в полон, надеясь на богатый выкуп. Остальные мертвы, и Роман испытывал горький стыд: лучше б ему и самому погибнуть. А теперь владимирским князьям придется чем-то поступиться, чтобы его вызволить. Или княгине Феофании – собрать выкуп, опустошив казну.

Брата Всеволода отдать в таль? Нет, брат не будет расплачиваться за его неуспех. В тали можно всю жизнь прожить, исчахнуть, как птица в клетке. Что за участь злополучная, да еще такому молодцу, как Всеволод!

Не лучше ли и впрямь согласиться на монастырь – молить за убиенных, искать мира и спасения для себя? А Плечеев? Пусть Всеволод получит княжий стол. Мысль отказаться от стола в пользу брата была и соблазнительной, и стыдной. Люди, может, и не скажут, а перед собой придется признать: не справился с той тяготой, какую возложил на него бог, дав родиться старшим сыном...

Глава 4

Об участии пленного князя плечеевского толковали и в самом Вронске. В воскресенье, когда Святослав с семейством отправился на службу в Троицкий монастырь, ему передали, что его желает видеть мать Иерусалима.

Мать Иерусалима приходилась Святославу мачехой – была второй женой его отца и раньше звалась княгиней Ириной. Много моложе мужа, до его смерти она прожила в княгинях лишь несколько лет, а потом ей не оставалось другого пути, кроме как в монастырь, – овдовевшие княгини заново замуж не выходят. Ее единственный ребенок умер совсем маленьким, и делать на княжьем дворе, где водворился пасынок, ей было нечего. Склонности к иночеству Ирина-Иерусалима не имела, и поначалу, изредка ее навещая, Святослав подозревал, что ее унылый вид – от скорби не по мужу, а по княжеской жизни, пирам и платью цветному. Но со временем она смирилась, благо Троицкий монастырь стоял в городе, а не где-то в глуши, и все новости Вронска и княжьего двора через богомолиц доходили сюда в тот же день. Одной из самых частых ее гостей была княгиня Варвара: они сдружились еще в то время, пока был жив старый князь Давид Игоревич.

После службы старая послушница провела Святослава к монастырскому саду, где между рядом рубленых келлий и каменным Троицким собором стояла скамья. Мать Иерусалима уже ждала его – высокая худая женщина с белой кожей, усеянной яркими рыжими веснушками, и рядом с ними черный апостольник казался еще чернее. За годы монашеской жизни она похудела, щеки ввалились, но Святослав Давидович помнил ее молодой женщиной с ярким румянцем и задорным блеском глаз. Она была моложе Святослава, но, будучи сперва его мачехой, а теперь – матерью-монахиней, держалась немного свысока. Святослав догадывался, что с самой своей свадьбы она считает пасынка увальнем, впрочем, не питая к нему злобы.

Сев на скамью, они прилично потолковали о здоровье, но князь видел, что мать Иерусалима держит что-то на уме.

– Была у меня вчера Варварушка, – тихим, хрипловатым голосом начала она, – рассказала про Романа плечеевского. Слава богу, что поправляется, да говорят, ты его в иноки определить хочешь?

Раньше она говорила быстро, звонко, бойко, но и голос ее смирился вместе с духом.

– Вот на ноги встанет, сведу его с отцом Германом, – кивнул князь Святослав. – Авось уговорит.

– Да как ты такую глу... – горячо начала мать Иерусалима, но поправилась: – Сомнительное это дело, вот что я тебе скажу, сыне. Молодца на третьем десятке хочешь клобуком покрыть!

– Бывает, и моложе постригаются.

– Это кто склонность имеет. А Роман имел бы – сам бы иноческую долю выбрал. Сейчас ты его силой под клобук склонишь, а суздальские князья тебе разве простят такое? И брат у него останется. Не успеешь опомниться, опять полки к Вронску придут.

– Ну так что же мне – всю жизнь в порубе его держать? – с досадой ответил Святослав, понимая, что насчет второго Глебовича бывшая мачеха права. – Это, по-твоему, более по-христиански будет? Иные да, ворогов хоть тридцать лет в порубах держат, даже и на родство не глядят. Но я-то чай страх божий имею.

– Зачем в порубе? – Мать Иерусалима хмыкнула. – Ты бы лучше в зятях его держал.

– Что?

– Али глуховат, сыночек? У тебя четыре дочери в тереме, уже взрослые. О них ты думал? За кого отдавать будешь?

– Да уж моим дочерям... – Святослав не сразу перестроил мысль на новый, истинно бабий поворот разговора, – женихи сыщутся.

– Старики какие-нибудь, да? – ядовито подхватила мать Иерусалима.

Ни при жизни мужа, ни потом она не позволяла себя попрекать его возрастом, но, конечно, понимала, что именно его годы делали ее раннее вдовство и монашество почти неизбежными. Поводом задержаться в миру было бы только, окажись ее маленький сын единственным наследником отца, но при Святославе, взрослом и крепком мужчине, надеяться было не на что.

– О чем ты думаешь, сыне? – принялась она убеждать несколько ошарашенного Святослава. – Я полночи молилась, просила Матерь Божью наставить на ум, вот мне и пришло. Роман чем вам не жених? И рода хорошего, и стол имеет хороший, сам молод, собой, говорят, недурен...

– Это ты откуда проведала?

– Бабы ваши сказали.

– Много знают твои бабы!

– Мне-то что, я Христова невеста, а вот Марии он будет в самую версту.

– Марии? Дочке?

– Она старшая у тебя, он в своем роду старший, и друг другу они равны, как голубь с голубицей.

– Да нет, как можно! – Святослав не мог так быстро переменить мысли, чтобы перенести Романа из врагов в родню. – Они, суздальские, нам вороги непримиримые.

– Предложи ему выбрать: венец брачный или куколь иноческий. А сам подумай. Станет он тебе зятем – от вражды избавишься, мести не навлечешь, о рубежах плечеевских всегда спокоен будешь.

Это уже был весомый довод, и Святослав призадумался.

– Да нет, – чуть погодя возразил он. – Варвара своего согласия не даст, побоится за дочку. Ишь чего – родное дитя в Плечеев отправить!

– И подальше отправляют. Кто у тебя в доме хозяин?

– Так и мне дочку жалко. Хорошо ли ей там будет? Мария-то у нас такая... Мать с няньками разбаловали ее. Привыкла, чтобы все было по ее воле.

Мать Иерусалима выразительно вздохнула, возвела очи и перекрестилась. Не требовалось напоминать, как много княжких дочерей выходит не за тех, кого сами бы выбрали. Одна из них сидела перед ним.

– Ты об этом деле не болтай, мать! – строго предостерег Святослав, вставая со скамьи.

Так сразу принять неожиданную мысль он не мог, но голос его давал понять, что он ее не отвергает полностью и еще подумает. Обнадеженная этим, мать Иерусалима кивнула и благословила его на прощание. Взгляд ее был и сосредоточенным, и отстраненным: она словно смотрела в будущее, которое не досталось ей, но могло достаться другой княжеской дочери.

Святослав сделал несколько шагов прочь, потом обернулся.

– Вот ты говоришь, мать... А будь ты сама девкой – пошла бы за такого, кого с поля бранного принесли?

– А и пошла бы! – горячим полупшепотом ответила мать Иерусалима, и серые глаза ее сверкнули молодым огнем. – Я не из робких была, а Роман-то – орел, говорят. Повенчаются они с Маришенькой, станут любить друг друга, тут вражде вашей и конец. Любовь есть имя божье. Где любовь – там бог, а где бог – там мир и всяческое благое устройство. По любви своей бог мир сотворил и сына единственного за него отдал. Вражду любовью в любовь претворить – истинный подвиг, какого сам Илья Муромец не совершал, а женщине он по силам. Боишься? Где ж тогда твоя вера?

Святослав оторопел. В глазах бывшей мачехи он видел готовность в битве – к битве, где ее оружием против вражды служила бы любовь, пусть вражда живет в самом сердце мужа. И мысли эти так его смутили, что он только махнул рукой и пошел прочь.

Несколько дней Святослав Давидович обдумывал новую мысль наедине с собой, но потом, понимая, что одному такое дело не решить, все же поделился с женой. Как он и ожидал, княгиня Варвара ей совсем не обрадовалась и так разволновалась, что дочери услышали кое-что через дверь.

– Да чтобы я... мою доченьку родную... этим владимирским! – доносилось из материной опочивальни.

Широко раскрыв глаза, Варя-младшая метнулась через верхние сени к двери и склонилась к щели. Мария, которой бывшая нянька, Мамышиха, заново заплетала длинную темную косу, скосила глаза в ту же сторону.

– Ты с ума спрыгнул, Давидович, если такое предлагаешь!

– Не я, а матушка твоя любимая, Иерусалима! – защищался князь. – Она, мол, полночи молилась, вот ее бог и наставил на ум.

– Не отдам я мою дочь в Плечеев! Ты сам посуди, какая ей радость среди этих аспидов жить!

Видя, какие знаки им делает Варя-младшая, Мария и Лаля тоже подошли к ней. Апракса смотрела на них издали, через растворенную дверь, сидя на своей лавке. Мамышиха взялась чесать косу на ночь ей, поэтому она не могла встать, да и достоинство не позволяло слушать под дверью. И не только достоинство. Разобрав, что родители не шутя ведут речь о браке дочери с Романом плечеевским, Апракса застыла и боялась взглядом выдать сестрам, в какое смятение ее это бросило. За прошедшие дни она так привыкла к мыслям и заботам о нем, что чувствовала себя прочно с ним связанной. Он как будто принадлежал ей, а теперь речь зашла о том, что навсегда изменит его судьбу. Пока она не думала, как этот поворот скажется на ней самой.

– А ты рассуди! – тем временем убеждал жену Святослав. – Пусть отец Герман Романа убедит постричься, так в Плечееве на стол сядет брат его меньшей. Разве он, да бабка Феофания, простят нам, что мы их брата лишили, сокола ясного в клетку посадили? На новое лето теперь уж князь Всеволод полки соберет, да и владимирские рады будут нам за обиду отплатить, за Юрия, за ждиборский разгром. Ярослав-то, поди, сидит у себя, злобу на меня копит, мечи и копыя вострит. Война эта будет до второго пришествия, и сам я еще, того гляди, на сани присяду. Хочешь к Ирине в монастырь? Да и со всеми девками вместе? Без меня кому они нужны будут? Вот то-то же! А Роман – жених неплохой, – добавил Святослав, видя, что жена притихла. – И не стар еще, а удал. На нашу сторону его перетянем – мне Глебушка спасибо скажет. Авось тогда и Ярослав присмирееет.

– Будто не бывало, что и зять с тестем за уделы или обиды воевали, – потише сказала княгиня.

– Бывало, что и братья друг с другом на поле бранном сходились. Но Роман не такой. Он, уж коли слово даст, в родственной любви поклянется, так не нарушит.

– Ишь как ты его возлюбить успел, – язвительно заметила княгиня. – Он для тебя уже праведник яко финик²⁵ процветший!

– Я своими глазами видел, как он чуть живот свой не отдал, чтобы родню прикрыть и Ярославу до бродов дать дойти. Поначалу я на него зол бы – кабы не он, мы бы и Ярослава

²⁵ Отсылка к выражению из Псалтири («Праведник яко финик процветет»), где праведник уподобляется финику (то есть пальме): пальма есть символ праведности и добродетельности.

разбили наголову, он бы еще десять лет не оправился. А теперь остыл и вижу: всякому бы такого брата, как Роман.

– Ох, не человек, а ангел! Да захочет ли он-то с нами родниться?

– Того не ведаю.

– И бабка ему не позволит! – Княгиня уцепилась за эту мысль, видя в ненавистной Феофании плечеевской внезапную союзницу.

– С бабкой сам пусть говорит, он же не дитя! Ей самой в инокини давно пора.

– Да и выживет ли Роман? Отец Ивлой говорил, лихорадит его.

– Это в воле божьей. Обождем, пока на ноги встанет, тогда и поговорим.

В княгининой горнице наступила тишина, Варя и Мария вернулись к себе с глазами как плоски. До того они, поболтав о пленнике, забыли о нем – помнила только Апракса, каждый день тайком видевшаяся с Богдальцем и своими руками собиравшая еду для Романа. Заботы эти и наполнили, и осветили ее жизнь; ее воодушевляла мысль, что она делает важное дело и исполняет божьи заповеди не на словах. Роман был в ее глазах и тем несчастным путником из Библии, что лежал на дороге, едва не убитый разбойниками, и врагом, которого господь учил любить. Она сама была ему благодарна за то, что он дал ей почувствовать себя так близко к богу, желала ему выздоровления, но и сожалела, что он перестанет нуждаться в ее тайных заботах.

И вот – сам отец, Святослав Давидович, намерен освободить пленника из тьмы подземелья, вернуть ему княжеское достоинство и даровать величайшую честь: ввести в свою семью. Он окажется вот здесь, рядом, в этих горницах... Почему-то эта мысль испугала Апраксу не менее, чем сестер.

– Ой, желанная наша! – Варя и Лаля обступили старшую сестру и ухватили ее за руки, будто злые вихри-вихори из свадебных причитаний уже вились над ее головой. – Наша Мариюшка – сладкая малинушка!

– Наша Марочка – медовая чарочка! Это ж они про тебя речь вели?

– Конечно, про нее – она старшая!

– Ой, Мариюшка-заюшка! – Лаля уже готова была расплакаться. – Да как же тебя отнимут у нас! Для этого, полоняника батюшкиного, змея ползучего!

– Нет, мы батюшку умолим!

– Матушка не выдаст!

– Не позволит!

– Не пойду я за этого... плечеевского! – От возмущения Мария едва не начала заикаться. – Все равно что за волка лютого в лесу! Это что еще батюшка выдумал!

– Ты слышала, что он говорил! – ответила ей Апракса, едва подавляя дрожь в голосе. – Батюшка желает мир утвердить между нами и владимирскими...

– Тебе говорить легко, а идти-то мне!

Никто не сомневался, что из четырех незамужних дочерей выбор отца падет на старшую. Даже пословица про это есть: задние колеса впереди передних не ездят.

– Ой ты бедная моя! – всплеснула руками Мамышиха. – Ох, горемычная! Не ровен-то в лесе лес растет, не ровен-то чужой люд живет! Ты, моя голубушка, теперь в чужедальной стороне намаешься, горьки слезы утираючи!

Мамышиха была проворная, как мышь, худенькая низкорослая женщина: даже Лаля уже ее переросла. Когда-то ее взяли в кормилицы для Марии, и она так и задержалась в горницах княгини Варвары, нянчила сперва старшую дочь, потом всех остальных. Родом она была из мери или мешеры, а может, из муромы – из лесных племен чуди, жившей по волжским берегам. Плосковатое скуластое лицо ее покрывали тонкие морщины, ласковые глаза были словно капли голубого неба, разбавленного молоком. Мастерница на все руки, она пряла, шила, ткала, врачевала небольшие недуги, тайком учила девушек гадать на суженого и договариваться с

домовым, чтобы вернул какую-нибудь мелкую пропажу. Княжеские дочери привыкли к ней, как к родной матери, а доверяли чуть ли не больше, поскольку от нее не ждали никакого осуждения, чего бы ни задумали. Каждая в свое время объявила, что возьмет Мамышиху с собой, когда выйдет замуж, Варя и Лаля даже ссорились из-за нее, а Мамышиха смеялась и унимала их: оставьте, до ваших свадеб мне не дожить. Они даже не огорчались этому предсказанию: свои свадьбы им виделись где-то лет через сто, несмотря на горячее желание, чтобы состоялись прямо завтра.

Но это только до тех пор, пока будущий жених рисовался девичьему воображению кем-то вроде святого Георгия – в красном выющемся по ветру плаще, с золотыми кудрями и на белом коне. Когда же этот витязь вдруг обернулся князем плечеевским Романом – израненным пленником, недавним врагом, лежащим в порубе, как тать, – три девушки ужаснулись. Мужей не достают из порубов...

Услышав слова сочувствия, Мария и две младшие сестры едва не ударились в рев, но Апракса показала им на дверь, и они опомнились: им еще не полагалось знать о таких страшных замыслах. Но с этого вечера княжеские дочери часто шептались о женихе. Мария, не желавшая менять привольное житье у любящих родителей на чужую сторону, да еще и враждебный отцу род, только и знала, что выискивать у князя Романа недостатки. И старый-то он для нее, и собой, говорят, нехорош, волосом черен, как половчин, и хвор – от таких ран едва ли полностью оправится, калекой останется! Какой из него муж – только на печи лежать, киселя хлебать! И бабка-то его Феофания – ведьма, медведица лютая, изведет невестку, со свету сживет!

– Марочка – золотая чарочка, ну зачем ты так! – Однажды Апракса попыталась ее остановить: поношения Роману ранили ее, как будто не Феофания, а она его вырастила. – Только сама себе сердце растравляешь!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.